что мне кажется в вопросах морали простейшей аксиомой, другому не вдолбишь никаким способом.

Коротко говоря, мне хочется выдать наружу то, что составляет мою внутреннюю жизнь, а сделать это трудно. Однако все-таки не невозможно. Нужно только помнить великий закон бухгалтерии. — За всякое удовольствие следует платить. И я нашел способ оплаты удовольствия, которое мне так хотелось получить. Этот способ заключается в том, что все пишется только для себя и нигде не публикуется. Одним словом, за право совсем правдивого писания я плачу́ отказом от того, что называется успехом в жизни. Чтобы не преувеличивать размеры своей жертвы, я еще раз повторяю, что успех — совсем не критерий удачно или неудачно прожитой жизни. Важно только, была ли она наполнена и чем была наполнена. Важно также, стыдно ли тебе за совершенные в жизни поступки или нет. Я доволен тем, чем заполнил свою жизнь, и мне кажется, что заполнял я ее прилежно. Не могу сказать, что мне не стыдно ни за одно мое деяние. Очень и очень много я дал бы за то, чтобы облегчить свою совесть от некоторых тяжелых укоров. Но никто не судья своего жизненного поведения. А как раз теперь я приближаюсь к самому важному экзамену — к последнему. И весь итог жизни зависит от того, как мне его удастся сдать.

И еще для полной честности следует сказать о некоторых удобствах и преимуществах избранного мною образа действий.

Во-первых, мой отказ от аудитории не полный. Почти всякое мое сочинение находит читателей. Верно, очень немногих. Самый большой тираж моих произведений — 3 экземпляра. Это если они перепечатаны на машинке. И пускаю я их не в широкий свет, а даю прочитать то или другое немногим моим друзьям, которым оно может быть интересно. Может даже случиться, что какие-то мои рукописи уцелеют после моей смерти. Но шансы этого невелики.

Во-вторых, поскольку я пишу не для печати, это избавляет меня от необходимости соблюдать принятые при публикации правила. Это особенно относится к сочинениям научным, подготовка которых к печати требует точной цитации упоминаемых авторов. А это занятие скучное и часто трудное. Это же позволяет мне писать так, как мне нравится, т. е. пользоваться всеми возможностями нашего языка, а не придерживаться убогого научного жаргона.

Наконец, время для писания, не рассчитанного на публикацию, теперь не наихудшее. Когда-то не очень давно это было опасно. К любому гражданину нашей страны в любой момент могли явиться люди из «органов», произвести у него обыск, забрать все написанное и, покопавшись в нем, установить, что деятельность этого гражданина вредна для государства. Теперь они для этой цели приходят только к тем, кто их уж очень интересует. Вряд ли на их визит могу рассчитывать я.

1970

ВОСПОМИНАНИЯ

Я побаиваюсь предаваться воспоминаниям о своих молодых годах. Уж слишком хорошим представляется всем старикам время их молодости. И очень велика опасность впасть в его идеализацию. Действительно, много хорошего ушло безвозвратно. Но много ушло и плохого. Об этом мы как-то не очень склонны думать. А ушедшего хорошего жаль ужасно. Жаль и мне, конечно. Но это чувство неотделимо от сожаления об ушедшей молодости, от которого ни один старик не может уйти, если только он не дурачок и не старается уверить себя, а главным образом — других, что душой он совсем молод.

Оставшиеся в живых мои сверстники обычно, встречаясь и вспоминая студенческие годы, ведут эти разговоры как бы под девизом: «Какое было время! Какие люди!»

Время первых лет после революции было, действительно, во многих отношениях занятное. Оно было, главным образом, очень пестрое. Происходило смешение разных общественных слоев, до той поры довольно обособленных. И тогда еще каждый из этих слоев был достаточно полно представлен. Позднее некоторые из них почти совсем исчезли. Частью были уничтожены, частью просочились за пределы нашего отечества, а частью как-то рассосались внутри него. Смешение было не только социальное, но и географическое. После войны и революции много народу переселилось. В столицах, Москве и Ленинграде (уж не буду называть его по-тогдашнему Петроградом), появились жители отдаленных провинций и наоборот — много москвичей и ленинградцев, спасаясь от голода, или по другим причинам, выехало в провинцию и на окраины. Приток новых элементов сильно освежил общество. Новые идеи вызывали брожение, и это тоже действовало освежающе. Террор и давление со стороны власти в те годы были еще относительно умеренные. Поэтому брожение идей могло приносить плоды. В искусстве был несомненный подъем и расцвет. Общее настроение молодежи было романтическое. Много романтики, наивной и не очень хорошего вкуса, было даже в жизни государственных учреждений. Думаю, что это время можно во всяком случае считать интересным и во многом героическим.

Что же касается *людей*, то, конечно, они были и тогда такие же, как и во все другие времена, т. е. хорошие и дурные, умные и глупые, живые и вялые, талантливые и бездарные, красивые и некрасивые. И все эти категории — все в той же извечной пропорции.

Говоря об интеллигенции, академической и всякой другой, я могу, пожалуй, сказать, что в ее среде много чаще, чем теперь, встречались люди более или менее широко образованные. Понятие образованного человека как-то стало совсем неупотребительным. Это не человек, имеющий хорошие познания в своей области или даже в нескольких специальных областях, такой, каких теперь чаще называют эрудированными. Это, конечно, не очень знающий специалист. И не тот, кто набрался разнообразнейших знаний из популярной литературы, отечественной и переводной. Пожалуй, образованность определяется больше всего мерой гуманитарного образования, знанием литературы и иностранных языков, хотя бы и немногих, но обязательно хоть одного классического. Образованный человек прежде всего грамотен в речи и в письме. Он не употребляет неверно иностранных слов, не коверкает их и не делает неправильных ударений (инциндент и прецендент, пáртер, фоэ, афёра, атлёт, лаболатория). Более или менее знает историю, имеет представление об исторических лицах, а также о литературных и мифологических персонажах, что позволяет ему читать с пониманием классическую литературу, знать, что значить умыть руки, что такое Прокрустово ложе, Иудины серебреники, Ахиллесова пята (служащий одного учреждения, жалуясь мне на слабое место в его работе, сказал: — Это наше ахилесовое пятно). В таком смысле образованных людей, а к тому же еще и воспитанных (тоже понятие ныне исчезнувшее и тоже не очень легко определяемое) прежде встречалось значительно больше, чем теперь, несмотря на неизмеримо меньшее распространение среднего и высшего образования. И такими были решительно все университетские профессора и преподаватели. Если можно говорить об образованности применительно к очень молодым людям, то она встречалась и среди студентов.

Однако я никак не могу сказать, что все эти люди были действительно такими гигантами мысли и такими большими фигурами, какими они представляются большинству моих однокашников. Мне кажется, что вообще интеллигент того времени как бы не дорос до способности по-настоящему оценивать события, людей и всякие явления в жизни, в науке и в искусстве. Чтобы узнать истинную цену этим вещам, нужно было пережить все, что последовало за первой мировой войной и за революцией. Хотя я сам лишь случайно уцелел в ходе этих событий, я считаю, что они научили меня такому, чего я без них никак не смог бы постигнуть. И, пожалуй, для себя я могу без иронии называть Сталина великим учителем. Наши же университетские учителя этого опыта не имели и потому, за редчайшими исключениями, были житейски несколько наивны. Также и научные их идеи были не очень высоки. Почти все они исповедовали довольно упрощенный позитивизм и, хотя сами этого не признавали, все же они стояли на платформе наивного материализма. Как биологи они свято верили в Дарвина, вполне правоверно или с уклоном одни в ламаркизм, другие — в выросший на основе тогда еще молодой генетики неодарвинизм. Конечно, я говорю это только о большинстве. Были и исключения. Однако, вспоминая свои университетские годы (студенческие и десять последующих лет), я не могу тешить себя иллюзией, что находился в обществе мудрецов и людей великого духа.

И все же, при всей трезвости оценки университетской жизни двадцатых годов, нужно признать, что это был период исключительный. — На какой-то десяток лет, начиная с 1919 года, университет (я, конечно, говорю о Московском; нечто сходное было, вероятно, и в других наших университетах) словно бы вернулся к своему средневековому прототипу. — Он стал коллегией, в которой профессора и студенты составляли нечто единое. Таким он не был до революции. И таким перестал быть через 12—13 лет после нее.

Пополнение университетов из самых низов, т. е. молодежью непосредственно от сохи и от станка, началось не сразу. В первые годы после революции туда шли все же в основной массе те, кто, если и не полностью окончили гимназию или другое старое среднее учебное заведение, то доучивались в советской школе лишь два-три года. У этого контингента и общая подготовка к высшей школе была достаточная, да и по происхождению он относился все же по большей части к интеллигенции, в то время еще очень далекой от идей Октябрьской революции. Профессора же и преподаватели были полностью старые, дореволюционные. Стремление сделать высшую школу пролетарской и подчинить ее целям, провозглашенным большевистской партией, существовало, конечно, с самых первых дней установления новой власти. Но сделать это сразу не было никакой возможности, так как высшая школа и вся наука в стране были целиком в руках старой профессуры. Однако нажим в этом направлении производился непрерывно. Как всякий нажим, он вызывал противодействие. Для этого противодействия была необходима какая-то опора. Ее профессура находила в значительной части студенчества. И именно в части наиболее интеллигентной, имевшей примерно такое же представление о науке и относившейся к новым порядкам почти так же, как профессора. Вряд ли те и другие вполне сознательно и с ясным представлением о цели искали поддержки друг у друга. Но несомненно, общность интересов как-то ощущалась теми и другими. Если уж непременно держаться принятой у нас терминологии, то эти интересы можно назвать классовыми. Но я не знаю, действительно ли снижение уровня преподавания и научной работы отвечало жизненным интересам пролетариата, а сохранение этого уровня было жизненно необходимо для феодалов и буржуазии. На мою долю выпало попасть в университет в этот период. И это я считаю удачей.

Университеты в то время были главным средоточием науки. Специально исследовательских учреждений тогда было еще очень мало. Это были институты Академии

наук, тогда еще очень немногочисленные, и буквально единичные научные учреждения, организованные незадолго до революции или в самые первые ее годы некоторыми энергичными и предприимчивыми учеными. Но основная наука жила в университетах. Университетское преподавание тогда сильно отличалось от теперешнего. Оно было тесно связано с научной работой. В нем было гораздо меньше всего обязательного, принудительного, всякого ученичества. Студент при желании и при наличии у него необходимой предварительной подготовки (и обязательно при знании хотя бы одного-двух иностранных языков!) мог хоть с самого первого дня входить в науку. Выполнение минимальной учебной программы тогда было проще, и оно оставляло время для других занятий. Да и сама эта программа была не так далека от современного уровня науки, как теперь. Уже при прохождении так называемого большого зоологического практикума студент не мог ограничиваться в качестве пособий одними учебниками, а был принужден знакомиться с большими русскими и иностранными руководствами и со специальной литературой. А это подводило его вплотную к современным вопросам науки. Общественно-политические предметы сначала вообще не входили в учебную программу. Потом они были введены в очень скромном объеме. Не преподавались военные предметы. Беспартийные студенты (а коммунистов и комсомольцев на всем нашем факультете было буквально несколько человек) могли не заниматься общественной работой, если не имели к ней интереса и способностей. Хотя курсы основных дисциплин были очень обширны, но зато не было такой массы обязательных специальных предметов, какими перегружены учебные программы теперь. Все это давало студентам возможность не только учиться, но и делать первые шаги в науке.

Но особенно этому содействовало тесное общение студентов с университетскими преподавателями. Конечно, таким общением пользовались далеко не все студенты. Их было слишком много. И не все они готовили себя к научной деятельности. Но серьезно интересовавшиеся наукой не встречали никаких препятствий к вхождению в студенческо-преподавательские коллегии, сгруппировавшиеся вокруг университетских кафедр. Члены этих коллегий были связаны между собой не одними научными интересами. Общение их было гораздо более полным. Все они составляли как бы расширенную семью профессора, возглавлявшего кафедру. И настоящая семья профессора в большей или меньшей мере входила в нее. Все внутри такой коллегии имели и чисто личные отношения между собой, особенно углублявшиеся и укреплявшиеся в различных экспедициях, научных поездках, при работе летом на биологических станциях и т. п., а также в совместных пирушках, достаточно частых, очень вольных, но при всем этом не носивших черт распущенности, хотя они и не обходились без алкоголя. И если, хотя бы по возрасту, между профессорами и студентами должна была сохраняться какая-то дистанция, то более молодые преподаватели — ассистенты и доценты — находились со студентами в самых свободных отношениях. При этом отсутствие внешних признаков чинопочитания никак не вызывало меньшего уважения старших младшими.

Коллегии отдельных кафедр не были замкнутыми. Они достаточно широко общались между собой, особенно в младших своих звеньях. Например, зоологи разных специальностей распределялись по кафедрам профессоров Кожевникова, Северцова, Мензбира, Богоявленского и Кольцова. Конечно, связи внутри каждой из этих групп были более тесными, чем за их пределами. Однако все зоологи составляли достаточно единую семью, особенно, повторяю, студенты и преподаватели чином пониже профессорского. Но и с ботаниками у нас была связь довольно тесная, и даже с геологами и химиками. От физиков и математиков мы были несколько более обособлены.

Было еще нечто, что сильно сближало разные звенья университетской коллегии. — Все тогда были бедны, раздеты, все мерзли и все были голодны. Особенно в период до начала НЭП'а. Конечно, профессора и преподаватели были лучше обеспечены, чем студенты. Но все же разница между материальным положением тех и других была несравненно меньше той, какая установилась позднее и существует теперь.

И вот, в этой обстановке нищеты и всеобщего товарищества мы очень нерадиво выполняли обязательную учебную программу, рьяно вгрызались в науку и много веселились. И если я говорю о своих университетских годах как о времени своеобразном и в каком-то отношении замечательном, то больше всего имею в виду царивший тогда в университете дух коллегиальности. Тот самый, который объединял профессоров и школяров в средневековых университетах в борьбе за их автономию и против посягательств феодалов, духовных властей и магистратов.

Автономия университетов и у нас всегда была мечтой их профессуры и студенчества, которую они отстаивали перед государственной властью, не желавшей ее предоставлять. После революции (кажется, февральской) она осуществилась. — Ректор стал избираться профессорской коллегией, а не назначаться правительственной инстанцией. Избранные ректор и деканы руководили всей жизнью университета, были его полными хозяевами во всем, что касалось преподавания и научной деятельности. Однако уже очень скоро после Октябрьской революции стало очевидно, что эта коллегия совсем не намерена осуществлять принципы, провозглашенные новой властью в отношении высшей школы. После неудачных попыток сломить это сопротивление более или менее мирными способами советское правительство отменило автономию, которой наши университеты пользовались в течение неполных четырех лет своей истории. В 1922 г. выбранный ректор Московского университета М. М. Новиков был заменен назначенным на эту должность В. П. Волгиным, известным академической публике более всего по своим публицистическим статьям в либеральной кадетской газете «Русские ведомости». Но тогдашние времена были еще очень мягкими, и после назначения нового ректора академические вольности были упразднены далеко не полностью. Один человек не мог изменить весь ход и характер преподавания и научной

работы, находившихся целиком в руках старой профессуры. А эта профессура, как только могла, старалась не вводить новшеств, шедших вразрез со всеми ее представлениями о науке, о высшей школе и об общественном строе. И если это ей в течение довольно длительного времени удавалось, то, несомненно, она была этим больше всего обязана поддержке со стороны значительной, и при этом наиболее интеллигентной, части студенчества.

Эта поддержка была вполне взаимной. Наиболее ярко это проявилось во время страшной студенческой чистки, проведенной в 1924 г. Она была задумана с целью освободить вузы от студентов, общественно-политическая физиономия которых была так или иначе несимпатична или хотя бы вызывала сомнение. Это было одним из первых решительных мероприятий по приведению вузов в христианский вид. Но еще не пришло время, когда такие мероприятия можно было проводить откровенно. Поэтому чистка была названа «академической» и была якобы основана на принципе академической успеваемости. Конечно, оценка успеваемости была очень различной в зависимости от большей или меньшей необходимости выгнать данного студента. Но все же какое-то минимальное приличие нужно было соблюдать. В частности, нельзя было «вычищать» студентов, почти полностью выполнивших учебную программу. Поэтому было объявлено, что студенты, которым для окончания курса осталось сдать не больше трех экзаменов, чистке не подлежат.

Чистка приняла характер настоящего избиения младенцев. В разных вузах и даже на разных факультетах одного вуза она протекала очень по-разному, в зависимости от рвения и садизма специально образованных комиссий, состоявших преимущественно из студентов же, членов партии или комсомольцев. Говорили, что были случаи самоубийства вычищенных студентов. Очевидно, организаторы чистки и сами поняли, что сильно перехватили. Через некоторое время после ее окончания начался пересмотр ее результатов и большинство выгнанных студентов или, по крайней мере, многие из них были приняты обратно.

И вот наши профессора (вероятно, не только наши) пришли на помощь избиваемым оканчивающим студентам. — Они стали зачитывать экзамены авансом, без сдачи их. Конечно, студенты и сами пустились во все тяжкие по части сдачи экзаменов. Чистка и ее официальные условия были объявлены заранее. Ко времени ее начала каждый студент постарался сдать как можно больше предметов. Но, как я уже говорил, большинство студентов, интересовавшихся наукой, было не очень усердно в выполнении учебной программы. Поэтому лишь очень немногие из них могли, сдав несколько экзаменов, довести их общее количество до требуемого для освобождения от чистки минимума. Профессора ставили экзамены вперед без колебания и без всяких предварительных условий. Ставили не только тем студентам, которых знали лично, но также и совсем незнакомым, по записке от какого-либо другого профессора или преподавателя. В результате от чистки было освобождено

гораздо больше студентов, чем это можно было бы сделать на законном основании. Все это было основано только на полном взаимном доверии. Хотя те времена были и очень далеки по суровости от начавшихся со второй трети тридцатых годов, все же профессора, конечно, рисковали.

И нужно сказать, что студенты, получившие экзамен авансом, никогда не замалчивали его потом. По крайней мере, я таких случаев не помню. Мало того, — зачтенные вперед предметы сдавались особенно добросовестно. Считалось неудобным идти к выручившему тебя профессору, зная его предмет на «утку». Я сам получил довольно много экзаменов вперед. И никогда я не готовился к их сдаче так тщательно, как при погашении этих авансов. Но, как нарочно, а может быть именно намеренно, профессора в этих случаях экзаменовали крайне снисходительно.

Легко понять, что в этой обстановке коллегиальности студенты сближались со своими учителями очень тесно. Думаю, что ни один теперешний студент не узнает так близко своих профессоров и преподавателей, как узнавали их мы.

У меня остались воспоминания об университете не только студенческие, так как после окончания курса я был связан с Московским университетом еще более десяти лет. И не одним кругом этого университета замыкались мои связи с зоологами и не только зоологами того времени. Хотя я и сказал, что только очень немногих из них я могу считать людьми действительно замечательными и выдающимися по своему уму, таланту и по человеческим качествам, все же почти каждый что-то сделал в науке или для науки и очень многие были людьми с какой-то стороны интересными (а какой человек вообще не интересен?). И, конечно, о многих из них хотелось бы рассказать то, что мне о них известно. Ведь о большинстве их никто ничего не узнает кроме того, что ими оставлено в их специальных работах. А о немногих, которые так или иначе вошли в историю, люди получат самое неверное представление.

А кто вошел в историю? — Шопенгауэр в своих «Афоризмах» приводит слова Лессинга: «Одни люди знамениты, а другие заслуживают быть таковыми». Но этот закон приобретает особую силу, когда историю, как у нас говорится, не пускают на самотек, а тщательно ее формируют. Результаты же такого формирования применительно к биологии таковы, что даже в широких кругах наших ученых мало кто знает о Тихомирове, Гурвиче, Беклемишеве, Мартынове, Навашине, но несравненно больше о Тимирязеве, Мензбире, Вавилове, Павловском, Опарине.

Приступая к писанию этих воспоминаний в уже довольно плохом состоянии здоровья, я знал, что они не могут быть сколько-нибудь полными и систематичными. Поэтому заранее отказался от какого-либо твердого их плана. Начавши вспоминать университетские годы, я решил написать о людях, с которыми был связан именно по университету. Но с кого начинать? — Может быть, это покажется странным, но я почему-то чаще всего вспоминаю не кого-либо из профессоров или других ученых, а работавшего в Зоологическом музее столяра Илью Сергеевича Сергеева.

И. С. Сергеев

Его биография известна мне по собственным его рассказам. Мальчиком он отдан был в обучение столярному ремеслу к какому-то мастеру-немцу. Чуть ли не весь первый год пребывания в мастерской ему доверялось только подгребание стружек да принос чайников с кипятком. Потом стали понемногу приучать к самым простым столярным работам. А затем, постепенно, — к более сложным. Не помню, сколько времени продолжалась наука. Но, во всяком случае, не два и не три года. Когда Илья все произошел, хозяин устроил ему экзамен. — На ободе большого, диаметром в сажень, вращающегося деревянного колеса были наклеены дощечки разных пород дерева, наших и иноземных. Сколько было таких дощечек, — сказать трудно. Но, вероятно, все же много. Хозяин поворачивал колесо и заставлял называть каждую породу. По-видимому, экзамен этот был достаточно труден. Предполагалось, конечно, что ученик к нему допускался лишь после того, как он мог выполнять решительно все столярные работы. Выдержавший экзамен считался уже мастером, хотя, надо думать, никакого диплома ему не выдавалось.

В 25 лет Илья женился. До этого в том, что касалось женского пола, было абсолютное воздержание. Также табаком и вином он не баловался. В церковь ходил всегда и в Бога веровал. Но, насколько я мог понимать, просто и истово, без исступления и фанатизма.

Не знаю, до женитьбы или после нее, Илья распрощался со своим хозяином-немцем и завел собственную мастерскую. Дело у него шло. Перед революцией у него постоянно работало около двух десятков мастеров. Предприятие его было достаточно солидное и считалось в Москве чуть ли не самым лучшим. Он брал большие подряды. Отделывал многие известные особняки, строившиеся в предвоенный период. Он же изготовил всю мебель, включая и аудиторную, в зданиях зоологического, физического и ботанического корпусов Московского университета, построенных в первые десять лет нашего столетия. Она цела и до сих пор, по крайней мере, в Зоологическом музее. И какая это мебель! Крышки больших лабораторных столов, склеенные из отдельных досок разных древесных пород, до сих пор идеально ровны и лишены малейших трещин. Покрывающий их черный лак удивительно противостоит действию проливаемых реактивов. Стенные и всякие другие шкафы закрываются и теперь так же плотно, как в день их изготовления. В Зоологическом музее Сергеевым сделана не только мебель, но также сундуки для хранения шкурок птиц и млекопитающих и энтомологические ящики. Эти ящики абсолютно герметичны. Ни моль, ни другие коллекционные вредители не имеют никакой возможности проникнуть под их крышку. Такие же ящики Сергеев делал и моему отцу для его коллекции бабочек. Это было в моем очень раннем детстве, и я только смутно помню, что к нам кто-то приходил с ящиками. Но Сергеев, как только я появился в университете в 1920 г., узнавши мою фамилию, тотчас же осведомился, не сын ли я того «господина Кузина». И это послужило началом нашей последующей с ним дружбы.

Я точно не знаю, что произошло с Сергеевым после революции. Но нетрудно догадаться, что его процветающее предприятие было так или иначе ликвидировано или национализировано. И хорошо еще, если сам он не имел в связи со своим буржуйством никаких особых неприятностей. Я застал его на должности столяра в Зоологическом музее. Его мастерская, в которой он работал один, помещалась в подвальном этаже. Жил он тогда, кажется, где-то на Пресне, т. е. относительно недалеко от университета.

Имея дело с энтомологическими коллекциями музея, то есть постоянно возясь с ящиками для насекомых и с многочисленными шкапами, у которых то и дело портились замки или терялись ключи (а с ключами и замками Сергеев управлялся не хуже, чем с деревом), я часто обращался к нему. Каждое такое деловое обращение сопровождалось небольшим балагурством. Из него постепенно возникали более долгие разговоры, углублявшие наше знакомство. Мне этот старик все больше нравился, а он приобретал все большее доверие ко мне. Когда через некоторое время после окончания университета я стал заведовать энтомологическим отделом Зоологического музея, то при распределении хозяйственных обязанностей между тремя его хранителями мне был поручен присмотр за столярной мастерской, и я, таким образом, стал непосредственным начальством Сергеева. В это время общий процесс приведения университета в нормальное советское состояние уже сильно прогрессировал. Профессора и все мы становились все меньше и меньше хозяевами университетских учреждений. Режим работы всякого подсобного персонала становился все жестче и все больше подчинялся вышестоящему начальству. Вводились всякие стеснительные формальности учета времени, контроля работы и т. п. Приходилось то и дело принимать какие-то меры, чтобы все это поменьше стесняло старика, привыкшего работать по-своему, не понимавшего никаких казенных методов управления и боявшегося их. А у него в самом конце двадцатых годов померла жена, и это его просто убило. И по каким-то причинам он переехал с Пресни в Хохловку, т. е., по-тогдашнему, на очень далекую окраину Москвы, и жил там с дочерью и зятем. Оттуда он еще довольно долгое время ездил на работу. Но наконец ему это, видно, стало невмоготу. У него была грыжа. Он стал часто хворать. И, исхлопотавши крошечную пенсию, бросил работу. В курсе всех его этих невзгод я находился постоянно. Делал для него, что мог. Но понимал, что ничего не поделаешь со старостью и с наступлением порядков, к которым этот человек никак не был приспособлен.

Я помню И. С. Сергеева только стариком. Роста он был среднего. Сутуловатый. Довольно плотный и кривоногий. Ходил быстро, но походка у него была шмыгающая и немного переваливающаяся. Волосы стриг коротко, но обычно обрастал. Носил усы и небольшую бородку, немного клинышком. Черты его лица были неправильные. Нос

красноватый, формы неопределенной и довольно мясистый. Брови густые. А глаза были светлые, умные и веселые. Его лицо при разговоре было подвижно и легко принимало лукавое выражение. Улыбка же часто бывала просто неотразима. На работе он был одет в ситцевую рубаху-косоворотку с жилеткой поверх нее и всегда носил фартук, матерчатый или клеенчатый. Но как-то Илья Сергеевич показал мне свой портрет, относящийся к лучшим годам его жизни. Он сказал мне, что у него есть книга, в которой помещены все московские «производители». Этой книгой оказался справочник «Вся Москва», изданный, кажется, в самом начале столетия. Там были сведения и о столярной мастерской Сергеева и была помещена фотография ее владельца. Судя по этой фотографии, И. С. в молодости был брюнетом или темным шатеном. Усы и борода были подстрижены. Снят же он был в пиджаке или в сюртуке, с высоким крахмальным воротничком и с широким, как тогда носили, черным галстуком. Узнать его можно было только по запечатлевшейся на снимке усмешке. Этой книгой-реликвией И. С. очень дорожил. Она осталась единственным свидетельством его давнего благополучия и славы.

Когда я думаю, чем, собственно, меня так располагал к себе этот человек, то приписываю это трем его качествам: его профессиональному мастерству, всегдашнему юмору, связанному, конечно, с природной живостью и ясностью ума, и чудному, по-настоящему народному языку, тому московскому говору, каким в моем детстве говорили вокруг меня все люди, не испорченные низшим, средним или высшим полуобразованием.

Мастерство, вероятно, в скором времени останется только в искусстве, где без него никак нельзя обойтись. Качество же вещей всякого обихода все больше и больше определяется совершенством машин и орудий, служащих для их изготовления, и внимательностью людей, управляющих этими машинами. Еще совсем недавно решительно каждая такая вещь в большей или меньшей мере была штучной. Сергеев сделал за свою жизнь огромное количество очень хороших столов, стульев, шкафов и ящиков. Большинство этих вещей делалось по относительно немногим образцам. Но изготовление каждой требовало мастерства. Все они были сделаны очень добротно, чисто и изящно. Глядя на них, можно понять, почему Илье пришлось столько лет проходить свое обучение. И было ясно, что кроме ремесленных знаний тут требуется хороший глаз и прекрасные руки. А руки И. С. не только умели орудовать инструментом, но они чувствовали дерево. Когда он являлся ко мне по какому-нибудь делу, он никогда не садился, но подходил к одному из столов или становился за свободным стулом и в течение всего разговора ощупывал этот деревянный предмет — крышку стола или спинку стула — пальцами. У меня было впечатление, что трогать дерево ему необходимо, чтобы чувствовать себя нормально, как необходимо форели ощущать течение воды, в которой она находится, или термиту — прикосновение к его телу стенок камер гнезда или хода.

Слушать всякие рассказы И. С., да и вообще вести с ним любой разговор, было настоящее наслаждение. Язык его был прост, но очень богат. Я уже не говорю о профессиональной столярной терминологии, для меня, конечно, экзотичной, о всяких там шпунтах, фасках и флянцах, о снычах и сувалдах ключей и т. п. Мне кажется, что, если бы застенографировать его повествования об обучении у мастера-немца, о своей мастерской, о порядках, царивших в ней, о харчении его рабочих, о его женитьбе, то это можно было бы без всякой правки включить в хрестоматию родного языка. И соседства с этими рассказами не постыдился бы и сам Аксаков. Великолепные у него были словечки лесковского типа. К сожалению, они у меня не удержались в памяти. Но один образец остался. —

Однажды, когда я после обеда пришел в Музей, И. С. сообщил мне с беспокойством, что тут приходили какие-то двое и спрашивали меня. Я спросил, кто они. — «Да не знаю. Оба с портуфелями. Кажется, из Главпроформы». Портфель был тогда необходимой принадлежностью всякого начальства. Сергееву он представлялся каким-то символом власти, как, несомненно, в прежние времена портупея у какого-нибудь околоточного. Главпроформой же он называл Главпрофобр — отдел Наркомпроса, в ведении которого находились вузы, в том числе и наш университет. Я не уверен, что Сергеев не понимал двойного смысла портуфеля и Главпроформы и что он попросту ошибся. Объяснять свои шутки было не в его манере.

А шутки из него так и сыпались. И это всегда были чистейшие экспромты, появлявшиеся по возникшему внезапно поводу. Вот некоторые их примеры.

В течение довольно многих лет возникший в недрах Зоологического музея «Пловморнин» (Плавучий морской научный институт, ставший позднее «Гоином», а затем «Вниро») не имел своего помещения, а ютился у нас, сначала в нескольких комнатах подвального этажа, а потом в нижнем выставочном зале Музея. Комнаты подвала шли цепью одна за другой. Первая из них была занята столярной мастерской. Поэтому все сотрудники Пловморнина проходили мимо Сергеева. В те времена в научных учреждениях часы работы соблюдались совсем не строго. Работали когда кому было удобно. И очень часто по вечерам. И это вечернее время было также удобно для больших и маленьких романов между сотрудниками и сотрудницами. Хитрый Сергеев был наблюдателен. Он и сам нередко задерживался на вечер в своей мастерской. Да и днем мог кое-что видеть и слышать. Одна сотрудница Пловморнина, ставшая потом очень строгой и почтенной дамой, в молодости была достаточно темпераментна и имела порядочную клиентуру поклонников. Однажды я зашел к Сергееву по какому-то делу. Кончив его, собирался уйти. Тогда старик с самым серьезным видом показал мне на дверь соседнего помещения и спросил: — «Борис Сергеевич, а туда-то что ж?» Я ответил, что туда мне идти не к кому. «А к Верочке-то?» — «Зачем же мне к ней?» — «Вот тебе раз! — А зачем же все-то ходят?» Засмеявшись при этом, он имел вид старого сатира.

Сергеев несочувственно относился к инвентаризации мебели, которую университетское начальство предложило провести только к концу двадцатых годов. Он не мог, конечно, примириться с прибиванием к столам, шкафам и стульям безобразных жестяных бляшек с номерками. Поэтому решил выбивать номера имевшимися у него стальными трафаретами с цифрами, наподобие больших типографских буквенных столбиков. Войдя с этими принадлежностями в комнату большого практикума, где сидела моя сестра, бывшая тогда студенткой, он сказал ей: «Вот скоро барышнев клеймить будем». И фыркнул.

Летом какого-то года я никуда не выезжал из Москвы. А все постепенно разъезжались в экспедиции, на биологические станции и т. п. Одним из последних отправился, уж не помню, куда, С. И. Огнев со своими учениками, кажется, с В. Г. Гептнером, А. Н. Формозовым и Н. В. Шибановым. Их снаряжение было погружено на подводу, подъехавшую к черному входу в Музей со двора. Я вышел проститься. Подвода тронулась и направилась к воротам, выходящим на Никитскую (ул. Герцена). Рядом с ней по тротуару чинно шествовали в экспедиционных костюмах (в тропических пробковых шлемах!) Сергей Иванович и его спутники. Я глядел им вслед. В это время рядом со мной появился Сергеев. Увидав удаляющуюся группу, он заглянул мне снизу в лицо и сказал: — «Уезжают все порядочные-то». И после паузы: «Одна шушера остается. Ха-ха-ха!»

Однажды я рассердился на Сергеева. Он не выполнил какую-то работу, которую должен был сделать по моему указанию. Когда его спросили, почему же он так поступил, он ответил, что есть начальство и повыше Бориса Сергеича, что он что-то делал по распоряжению самой деканши (Быховской). Когда он вскоре после этого пришел по делу ко мне, я решил прочитать ему мораль. Сказал ему что-то вроде того, что со всеми своими нуждами он идет ко мне и что из всяких неприятностей я его вытаскиваю, а он на меня плюет. И что пусть он тогда и поступает в распоряжение деканши. Сергеев слушал все это, подняв брови и поколупывая свой нос. И вдруг он с робкой улыбкой поднял на меня глаза, сияющие невинностью, и, совершенно как провинившийся ребенок, сказал: «Ну, милочка, простите. Ну, не буду больше». Я понял, что шельмец хитрит. Но не было никаких сил не разоружиться.

Не помню, в каком году Сергеев перестал работать. Вероятно, это было году в 1932 или в 1933. Я узнал, что он чувствует себя плохо, болеет. Решил навестить его в одно из воскресений. День был осенний и непогожий. На разных трамваях, а потом пешком по грязным окраинным улицам добрался до него. Я даже не очень представляю себе теперь, где, примерно, находилась Хохловка. В небольшом деревянном домике я застал Сергеева одного. Дочери и зятя не было дома. Илья Сергеевич очень осунулся и сильно изменился. Глаза его потускнели. Зная, что живет он очень небогато, я собрал среди музейских зоологов сколько-то денег. Кроме того, купил ему каких-то харчей, так как время было довольно голодное. Он растрогался. Посидел я с ним недолго. Он теперь уже не шутил. Говорил обо всем серьезно. Ни на что не жаловался, но был полон всяких беспокойств. Уходя, я знал, что больше его уже не увижу живым. Умер он довольно скоро после этого свидания. Но на похоронах его я почему-то не был. Кажется, я тогда сидел в тюрьме.

Г. А. Кожевников

Моим учителем в университете был Григорий Александрович Кожевников. Говоря так, я несколько колеблюсь. Ведь, собственно говоря, он меня ничему не учил. Его основной курс — зоологию беспозвоночных — я не слушал. Я вообще не слушал почти никаких лекций, так как плохо воспринимаю с голоса, а посещение лекций в мои времена для студентов не было обязательным. Читал же Г. А. очень скучно. Еще он читал специальный курс по членистоногим. Этот курс не был обязательным. Поэтому его вообще слушало очень немного студентов. Но чтобы не допустить полного провала курса, студенты, специализировавшиеся при Зоологическом музее, установили между собой повинность ходить на эти лекции по очереди, чтобы в аудитории каждый раз было хоть несколько человек. И на мою долю выпало несколько таких отсидок. Но я и не пытался слушать, а изрисовывал страницы своей тетрадки всякими рожами. В специализации по разным группам животных студентам непосредственно помогали те или другие из ассистентов или доцентов Г. А. Сам он руководил только теми, кто изучал медоносную пчелу. А таких студентов было очень мало, а годами не бывало и совсем. Целая ватага студентов-энтомологов, поступивших в университет более или менее одновременно со мной, сгруппировалась около только что окончившего курс Е. С. Смирнова. Я был в их числе и, следовательно, никогда ни в чем не пользовался прямыми наставлениями Г. А. И все-таки, говоря о нем как о своем учителе, я это делаю не по одному только формальному основанию, что он заведовал Зоологическим музеем.

Дело, во-первых, в том, что вся обстановка работы в Музее отличалась от той, какая господствовала в других зоологических учреждениях, например, в университетском же Институте сравнительной анатомии, в лаборатории Кольцова и в любой другой. Пусть эта обстановка Зоологического музея в значительной мере выработалась еще при предшественниках Г. А., но он ее сохранял и поддерживал. Во-вторых, не обучая нас ничему в прямом смысле, он все же считал всех нас своими учениками, интересовался работой каждого, был более или менее о ней осведомлен, беседовал с нами, делился своими мыслями, научными и житейскими идеями, рассказывал многое из недавней истории зоологии вообще, отечественной зоологии, университета и т. п.

Но ведь я вообще никогда не работал ни под чьим систематическим руководством. Это не значит, что я до всего доходил только сам. — Нет, очень и очень многие (не только зоологи и не только ученые) оказывали на меня сильное влияние, передавали мне свои мысли и знания. Нельзя же каждого из этих людей считать своим учителем. И я, раз я начал знакомиться с наукой и делать свои первые шаги в ней в Зоологическом музее, руководимом Г. А., единственно только его и могу с каким-то правом назвать своим учителем. Наконец, за годы общения с ним я его полюбил, считаю, что он относился ко мне так хорошо, как это только возможно, и потому мне просто для самого себя приятно говорить, что я ученик Г. А. Кожевникова.

Что же это был за дух Зоологического музея (иначе трудно назвать то, что составляло его особенность и что неотделимо от фигуры Г. А.)? Прежде всего, почему я, говоря, собственно, об университетской кафедре, называю ее музеем? — В старом университете подразделения, соответствующие современным кафедрам, нередко назывались отлично от наименования самих кафедр. Так, на медицинском факультете учреждение, в котором преподавалась и изучалась анатомия человека, называлось анатомическим театром, хотя им заведовал ординарный профессор, возглавлявший кафедру нормальной анатомии. Другие учреждения назывались институтами, кабинетами и т. п. Зоологические кафедры в разных университетах именовались кабинетами зоологии, иногда зоологии и зоотомии. В Московском университете исстари кафедра зоологии называлась Зоологическим музеем. Нужно думать, что причина такого именования университетских учреждений не по кафедрам заключалась в том, что они были одновременно учреждениями и учебными, и научными. С течением времени эти две стороны их деятельности все более обособлялись. Уже в середине двадцатых годов нашего столетия при вузах стали создаваться исследовательские институты. В них и перешла наука (еще в большей мере перешла она из вузов в академические и ведомственные институты), а на кафедрах осталось исключительно или почти исключительно преподавание.

Я никогда не был особенно склонен к истории и потому не удосужился доподлинно узнать старые судьбы учреждения, в котором вырос. Знаю, что в очень далеком прошлом оно было связано с именами Фишера фон Вальдгейма и его преемников. Позднее большой след в его истории оставил К. Ф. Рулье. Но не знаю точно, с какого времени кафедра зоологии и Зоологический музей перешли в ведение учителя Кожевникова, — А. П. Богданова. Кажется, с конца семидесятых годов прошлого столетия.

Богданов гораздо более известен как научный деятель большого размаха, чем как специалист-зоолог. Кажется, его единственным крупным специальным трудом было исследование природы цветности пера птиц. Но исследование это, говорят, было очень талантливым. Он был организатором обществ «Любителей естествознания, антропологии и этнографии» и «Акклиматизации животных». Первое из них состояло из нескольких отделений, каждое из которых работало очень плодотворно. Это общество выпустило большую серию трудов, и оно было как бы московским аналогом Академии наук. Общество прекратило свое существование в 1930 году, что я запомнил хорошо, так как в этом году я был избран секретарем его Зоологического отделения, каковую функцию и выполнил единственный раз на последнем заседании Отделения. Также и Общество акклиматизации делилось на несколько секций: пчеловодства, аквариума и террариума и др. В ведении Общества был и Московский зоологический сад. Политехнический музей был также основан А. П. Богдановым, и в нем находилась штаб-квартира ОЛЕАЭ.

Будучи вполне академическим и очень разносторонним ученым, Богданов широко интересовался и прикладной наукой. Об этом достаточно свидетельствует уже хотя бы то, что ему обязан своим существованием Политехнический музей. А на своей университетской кафедре он поощрял изучение медоносной пчелы, шелковичного червя и вообще разработку вопросов, имеющих практическое значение. Лекции читать он не очень любил, но следует думать, что организатором и руководителем научных работ он был прекрасным. Достаточно привести хотя бы одни имена его учеников: Н. В. Насонова, В. М. Шимкевича, А. А. Тихомирова, Г. А. Кожевникова, кажется, Н. Ю. Зографа, Н. М. Кулагина. Не знаю, можно ли всю эту плеяду зоологов назвать школой Богданова. — Ни один из них не был продолжателем его специальных исследований. Но все они были его питомцами, все начинали свою научную деятельность со студенческих лет в Зоологическом музее.

Вероятно, есть разные способы научного руководства. Одни из них более тверды, жестки и направленны. — Руководитель предлагает своим ученикам или подчиненным сорудникам разработку вопросов, интересующих его самого, составляющих какие-то разделы его собственной работы. Он дает ученикам готовую методику или прямые методические советы, указывает им точно литературу вопроса, следит за их работой на всех ее стадиях, помогает делать выводы из произведенных наблюдений и т. п. Но бывают руководители и другого типа. — Они предоставляют ученикам большую свободу в выборе предмета изучения и полную инициативу в поисках средств выполнения работы. Такие руководители главное внимание обращают на основные качества своего ученика: его интерес к науке, познания и способности. Их руководство носит более общий характер. Они не столько помогают выполнять исследования, сколько знакомят учеников с проблемами науки, с самой ее сущностью.

У меня создалось впечатление, что руководители первого типа обычно бывают сами более активными исследователями. В учениках они видят в значительной мере помощников. Вряд ли всегда сознательно, но так или иначе они проявляют известный деспотизм. И уж почти как правило не терпят у своих учеников инакомыслия. Работа

под руководством такого ученого имеет свои серьезные преимущества. Ученик с самого начала становится на верную дорогу. Он не тратит времени на поиски темы, разработку методики, подбор литературы, не делает элементарных ошибок, нередко сводящих к нулю результаты долгой работы. Его самые первые исследования бывают выполнены на достаточно высоком и современном уровне. Наконец, его первые шаги в науке защищены от придирчивой критики авторитетом учителя. Но за эти блага, как и за всякие другие, приходится платить. Плата же заключается не столько в том, что такой ученик, грубо говоря, в какой-то мере батрачит на учителя, сколько в замедлении развития, а порой и в полном подавлении его собственной научной инициативы. Известны случаи, когда способные и инициативные молодые ученые, попавшие в лабораторию сильного и вместе деспотичного руководителя, вступают в конфликт с ним и бывают принуждены от него уйти. Так было, например, у Белоголового с Северцовым, у Добжанского с Филиппченко. Но такие случаи не так часты по той причине, что обычно при поступлении студентов или молодых ученых в ту или иную лабораторию сама собой происходит как бы сортировка их по характерам. Более инициативные, более уверенные в собственных силах и менее преклоняющиеся перед авторитетами выбирают, быть может, не вполне сознательно, ту лабораторию, в которой им будет предоставлена большая самостоятельность. Менее же инициативные охотно поступают под твердое руководство, пользуются его благами и особенно не страдают от деспотизма учителя. Очень характерно, что женщины идут почти исключительно к таким «твердым» руководителям и остаются верными им в течение всего времени совместной с ними работы.

Нужно думать, что А. П. Богданов относился к категории руководителей «либеральных». Так о нем отзывались из известных мне лично его учеников Г. А. Кожевников, Н. М. Кулагин и Б. М. Житков. Да и довольно того, что столь разные по характерам люди, как Насонов, Шимкевич, Тихомиров и Кожевников, благополучно прошли начало своей научной карьеры под руководством Богданова и до конца жизни вспоминали о нем с глубочайшим уважением. И эта-то традиция широкого научного либерализма сохранилась в Зоологическом музее вплоть до моих времен, и Г. А. Кожевников поддерживал ее в полной мере.

Непосредственным преемником Богданова был А. А. Тихомиров. Но, кажется, он возглавлял кафедру зоологии и Зоологический музей не очень долго. Этот очень способный ученый много времени уделял также общественной деятельности с достаточно яркой политической окраской. Его взгляды были вполне монархическими, а в научной области он был резким противником теории Дарвина и выступал против нее с публичными лекциями, привлекавшими также и представителей духовенства, в том числе и высшего. По этой причине лекции Тихомирова обычно начинались обращением: «Ваши преосвященства, милостивые государыни и милостивые государи!» Это он сказал о Тимирязеве, ревностно пропагандировавшем дарвинизм, что он (будучи профессором университета) за казенный счет изгоняет Бога из науки. Другого популяризатора учения Дарвина, умеренного либерала М. А. Мензбира, Тихомиров называл в разговорах «Этот жидишка Мензбир». Политические взгляды и соответственная деятельность Тихомирова обеспечили ему продвижение по лестнице чинов и орденов. Он был назначен попечителем Московского учебного округа и оставил службу в университете. Его место занял Г. А. Кожевников.

Говорили, что этим назначением Г. А. был полностью обязан Тихомирову, который, однако, поставил ему одно условие: — не обижать его любимого ученика Б. М. Житкова. Это условие Г. А. и выполнял со всей своей добросовестностью. Впрочем, я думаю, что это не потребовало с его стороны никаких усилий, так как он вобще не был склонен обижать кого бы то ни было, а с Б. М. у него были отношения вполне дружеские. Благодарность же по отношению к Тихомирову Г. А. сохранил до конца своих дней. Как царский сановник, да еще и активный монархист, Тихомиров после революции оказался выброшенным из жизни. Не знаю, был ли он как-либо специально репрессирован, но, во всяком случае, работать он ни в каком советском учреждении не мог, а состояние, если оно у него было, конечно, пропало. Он поселился в Сергиевом Посаде (ныне Загорск), куда после революции перебрались и многие другие бывшие крупные чиновники и аристократы, и жил там, нужно думать, в бедности. Я знаю, что его постоянно навещал Б. М. Житков, а иногда и Г. А. Оба они каждый месяц посылали ему сколько-то денег.

Г. А. Кожевников происходил из купеческой семьи. Вряд ли из очень богатой. Но, во всяком случае, получить образование он мог без особых трудностей. По крайней мере, от него самого я никогда не слыхал, чтобы он нуждался, учась в гимназии, или в студенческие годы. Не видно этого и из его дневников, попавших в мои руки после его смерти. Не знаю точной последовательности его научной карьеры после окончания курса. Вероятно, он был оставлен Богдановым при университете. Как в то время было в обычае, он поехал за границу. Опять-таки не знаю, побывал ли он в разных странах или только в Германии. Там он знакомился с морской фауной на Немецком море, побывал в нескольких университетах и познакомился с некоторыми известными в то время зоологами. Магистерскую диссертацию написал на тему «Естественная история пчелы». Так же называлась и докторская его диссертация («Естественная история пчелы», ч. 2). Эти работы были вполне на уровне тогдашней зоологии. Написаны они были хорошо, так как Г. А., как и многие тогдашние ученые, обладал достаточными литературными способностями. Защита обеих диссертаций прошла благополучно. Я, конечно, как верный ученик Г. А., прочитал их в свое время обе. Они показались мне довольно скучными. Может быть, теперь я оценил бы их несколько по-другому. Но во всяком случае, особой эпохи они в науке не создали.

Активная деятельность Г. А. в науке закончилась, собственно, с выполнением докторской диссертации. После занятия должности ординарного профессора он стал

уделять большую часть своего времени чтению курса, а главное — организации Зоологического музея. Для Музея, размещавшегося до того в новом (т. е. находившемся на левой стороне Никитской) здании университета на хорах, выходивших в университетскую церковь, было выстроено специальное новое здание, в котором кроме того были размещены лабораторные и учебные помещения всех зоологических кафедр.

Обстоятельства постройки этого здания произвели глубокое впечатление на Г. А. Он рассказывал, что однажды Московский университет посетил Витте, бывший тогда министром финансов и находившийся в зените своей карьеры. Показали ему и Зоологический музей, ютившийся на церковных хорах. Витте заметил тесноту и убожество помещения и спросил кого-то из сопровождавших, почему университет не ходатайствует о постройке нового здания. Ему ответили, что с этой просьбой обращались в Министерство просвещения, но оно отказало в средствах. Оказалось, что Витте был в контрах с министром просвещения и, желая уколоть его, спросил, почему же не обратились прямо в Министерство финансов. Никто, конечно, и думать не мог, что средства можно было получить таким способом. Но предложение было почти прямое. Им, разумеется, воспользовались, и вопрос о постройке нового зоологического корпуса был решен. Вывод, который сделал из этой истории Г. А., был тот, что никогда не нужно ничего активно добиваться. Следует во всех случаях жизни лишь ожидать благоприятных возможностей, и уж когда они появляются, — не упускать их. Эту житейскую философию он и развивал перед всеми нами. Удивительно только, что при этом он забывал своего столь уважаемого учителя, Богданова, который был большим мастером очень деятельно добиваться получения средств на научные предприятия из самых разнообразных источников.

Организация заново Зоологического музея поглотила у Г. А. много времени и сил. Он ознакомился с несколькими заграничными музеями, со способами экспозиции выставочных и хранения основных коллекций и т. п. Широкую публику, посещающую зоологические музеи, интересуют преимущественно птицы и млекопитающие. Поэтому первым в новом музее был открыт верхний зал, в котором были выставлены чучела этих животных. А Г. А. счел себя обязанным более обстоятельно ознакомиться с их систематикой, которую, как большинство специалистов по беспозвоночным, знал недостаточно. Это ознакомление пробудило в нем интерес к охоте, которой он до тех пор не занимался. Музей после постройки его здания и открытия выставочного зала для публики был предметом главных забот Г. А.

Но он занимался не только Музеем и чтением лекций. Интерес к пчеле, послужившей ему объектом диссертационных работ, остался у Г. А. на всю жизнь. При этом не только к этому насекомому самому по себе, но также и к пчеловодству. Г. А. возглавлял секцию пчеловодства Общества акклиматизации и он же заведовал состоящей при этом обществе опытной пасекой в Измайлове. Общение Г. А. с пчеловодами, особенно с теми, кто в этом деле занимался опытничеством, было очень широким в течение всей его жизни. Также детищем Г. А. была Комиссия по изучению фауны Московской губернии или, как ее обычно называли, Фаунистическая комиссия, созданная в самые первые годы нового столетия.

Организация вроде Фаунистической комиссии, как и вообще научные общества и кружки, с середины прошлого столетия вплоть до первой мировой войны играли у нас довольно значительную и полезную роль. В то время различие между профессиональной наукой и любительством не было так колоссально велико, каким оно стало позднее. Многие любители, например, занимались систематикой, особенно насекомых и птиц, на уровне ничуть не низшем, чем специалисты-зоологи. Возможно было любительство и в других областях науки. Уже хотя бы потому, что научная литература тогда еще не разрослась до таких необъятных размеров. Кроме того, условия жизни позволяли многим, даже не очень богатым людям иметь дома довольно большие коллекции, библиотеки и даже лаборатории. Теперь непрофессиональная наука, во всяком случае у нас, стала просто невозможной и если она все же существует, то лишь как одно из проявлений чудачества.

В экскурсиях, которые устраивала Фаунистическая комиссия, и во всей ее деятельности принимали участие, кроме зоологов, люди самых разных профессий и общественного положения: врачи, учителя средних школ, юристы, коммерсанты, чиновники и служащие частных фирм. И нужно сказать, что изучение подмосковной фауны, хотя это дело и достаточно скромно, в результате деятельности Комиссии было заметно продвинуто. Рулье в одном из своих сочинений писал, что, прежде чем приниматься за изучение природы далеких краев, нужно как следует изучить один квадратный аршин территории собственной родины. Г. А. часто припоминал эти слова Рулье. На стекле одного из книжных шкафов его домашнего кабинета в числе других была приклеена бумажка с чьим-то изречением: «Primo nosce patriam, postea viator eris»*. Создание Комиссии по изучению фауны Московской губернии было прямо направлено на эту цель. Она успешно действовала до революции. Г. А. пытался оживить ее работу и в послереволюционные годы. Официально Комиссия никогда не была ликвидирована. Она потихоньку скончалась сама, поскольку потеряла свой первоначальный смысл широкого объединения любителей вокруг скромного научного предприятия.

Как видно из сказанного, деятельность Г. А. была довольно разнообразна и обширна. Но она не настолько значительна, чтобы ее стоило подробно описывать. Однако сама фигура Г. А. чрезвычайно интересна и характерна для своего времени, для старого Московского университета и, наконец, для самой Москвы. Было бы просто дико вообразить себе деятеля такого типа в обстановке теперешнего университета на Ленинских Горах, в атмосфере его «учебы», бюрократизма, таинственной

* Сперва познай родину, затем стаиовись путешественником (*лат.*).

деятельности «общественных» организаций, законопослушности, узаконенного стандарта во всем и разветвленной сети мелких интриг.

Я не хочу сказать, что интриг не было в старом университете. Они там были. Они всегда были и всегда будут там, где собралось достаточно людей во имя науки. Ученым в высшей степени свойственны провинциализм и мещанство, которые и порождают пиквикизм, — явление, по своей сущности совершенно чуждое науке, но, по-видимому, практически от нее не отделимое. Вера в абсолютную силу и всемогущество разума, которому они будто бы служат, сообщает ученым сознание, что они выполняют какую-то особо высокую функцию в обществе. Вместе с тем, по характеру своей работы, требующей сосредоточенности, ученые всегда несколько отгорожены от широкой жизни и плоховато знают ее узлы и пучности. А ограниченность, соединенная с сознанием своего превосходства, и составляет сущность мещанства. Поэтому ученые, даже если они живут в мировой столице, умудряются в самом ее центре создать какой-нибудь самый захолустный Шацк или Чухлому. Но им самим эта Чухлома представляется Олимпом, на котором они чувствуют себя небожителями.

Пиквикский клуб — бессмертный прототип наших домов ученых. Трудно удержаться от улыбки, наблюдая, с каким достоинством их члены входят в свое святилище и потребляют в нем причитающиеся им блага. Служебный персонал этих домов хорошо выдрессирован для оказания их клиентам всевозможного почтения. Причем это почтение строго дозируется сообразно с чином. Один почет просто профессору (не знаю, допускаются ли туда меньшие чины), другой — члену-корреспонденту, третий — обыкновенному академику, четвертый — члену Президиума Академии, а уж и представить не могу, какие почести полагаются вице-президентам и самому президенту. Вся эта знать важно ест в столовой Дома и после принятия пищи долго роется в портмонетах, ища копейки для точной расплаты с официантом, читает газеты и журналы, просто дремлет, развалясь в глубоких креслах, расставленных в гостиных, холлах и коридорах, играет в шахматы или беседует. Но особенно трогательна деятельность всяких кружков. В них профессора и академики, каждый из которых посмеялся бы над любителем-самоучкой, вторгнувшимся со своими соображениями в его специальную область, занимаются самым примитивным любительством в других областях. Они рисуют картинки, делают скульптурки, музицируют, упражняются в литературе и обсуждают литературные произведения — все это на уровне, бесконечно далеком не только от настоящего художественного творчества, но даже и от грамотного ремесленничества. И все это не где-нибудь в Петропавловске-Камчатском, но в Москве и в Ленинграде, рядом с собранием рублевских икон, с Эрмитажем, с консерваториями, в городах, где живут настоящие писатели.

Конечно, не был свободен от пиквикизма и старый университет. Одним из проявлений его была война мышей и лягушек между Зоологическим музеем и Институтом

(кафедрой) сравнительной анатомии. Она велась, когда Музеем ведал еще Богданов, а сравнительную анатомию читал Борзенков. Продолжалась при Тихомирове и Г. А. с одной стороны, Мензбире и Северцове — с другой. Верно, война эта выражалась преимущественно в пускании мелких шпилек и никогда не доходила до больших драк, а уж тем более до писания доносов, политической и научной компрометации и тому подобных форм, получивших в научных учреждениях права гражданства при Сталине и не утративших их и до наших дней. Самое большее, до чего могла дойти вражда между двумя феодалами, это до придирок на экзаменах к студентам (и магистрантам), специализирующимся при враждебной кафедре, и даже до провала их. Еще при мне кожевниковские ученики очень боялись сдавать экзамен по сравнительной анатомии. В. В. Алпатов, например, в самом начале двадцатых годов сильно затянул окончание университета, выжидая, когда надолго выедет из Москвы Северцов, чтобы сдать сравнительную анатомию кому-нибудь из его ассистентов. Но уже немного позднее такие проявления вражды прекратились под действием развившегося духа коллегиальности между студентами и профессорами. Пускание же шпилек сохранялось долго. И в этом проявлялась традиция взаимоотношений между Зоологическим музеем и кафедрой сравнительной анатомии.

О характере этих шпилек может дать представление следующий анекдот. — Г. А. на лестничной площадке нижнего этажа громко кличет служителя (об этой должности я расскажу позднее): «Фрол! Фрол!» Тогда со второго этажа, из кабинета Мензбира слышится его голос: «Феликс! (служитель Мензбира) Закрой дверь! Там внизу кто-то безобразно кричит!»

Нужно сказать, что Г. А. был очень удобной мишенью для таких и подобных выпадов. Он во многом был сильно чудаковат. Начиная с внешности. — Роста он был среднего, сложения плотного, а порядочное брюшко отрастил уже довольно рано. С лица он был довольно благообразен, и в его чертах не было ничего заметно неправильного. Только глаза у него были какие-то белесоватые. По тогдашнему обыкновению, он носил небольшую бороду и усы. Г. А. сильно картавил: не произносил «р» и твердого «л», а голос имел гнусавый. Так что имя служителя Фрола, например, у него звучало как «Фг'оу», да еще в нос.

В чудачестве Г. А. не было ничего наигранного, показного. Вообще во всем он был прост и естествен. Поступки, выглядевшие со стороны странноватыми и комичными, он совершал с полным сознанием правильности своего поведения и был готов отвечать за них перед кем угодно.

От своего отца, соприкасавшегося с Г. А. на экскурсиях и на заседаниях Фаунистической комиссии, я слыхал всякие забавные истории о Г. А. еще задолго до поступления в университет и личного знакомства с ним.

Г. А. был по натуре настоящим демократом. Он не разыгрывал из себя жреца науки. В этом я мог убедиться, наблюдая, хотя бы, его общение с пчеловодами,

постоянно приезжавшими к нему из самых отдаленных уголков. В большинстве это были простые крестьяне, сельские учителя и священники, мелкие железнодорожники и тому подобный скромный люд. Г. А. держался с ними совершенно просто, выслушивал их рассказы с неподдельным интересом и, хотя в их глазах он был великим ученым и пчеловодным богом, сам никак этого не сознавал.

Имея интерес к зоопсихологии, Г. А. довольно давно близко познакомился с известным дрессировщиком В. Г. Дуровым, бывал в его зверинце и участвовал в его опытах по дрессировке животных. Однажды он объявил публичные лекции, на которых с демонстрациями выступал также и Дуров. Конечно, в те времена совместное появление на афише имен профессора университета и клоуна — а именно так и назывался тогда Дуров и клоунские номера всегда сопровождали его выступления с животными в цирке — было достаточно сенсационным, чтобы не сказать скандальным. В то же, примерно, время много нашумели статьи и выступления немецких дрессировщиков с «думающими» животными. Впоследствии выяснилось, что они были лишь ловкими шарлатанами. Но простодушный Г. А. попался на их удочку и то ли что-то написал о них положительное, то ли выступил в таком духе на публичной лекции. Это и дало повод для появления в одной из газет статьи «О глупых лошадях и умном профессоре». Кажется, эта статья была подписана псевдонимом, но автором ее был Н. А. Иванцов, зоолог, сам в науке особенно много не сделавший, человек грубый и желчный. Статья была обидная и колкая, как говорили, довольно остроумная. Заодно с высмеиванием высказываний Г. А. о думающих животных автор ее потешался и над совместными его выступлениями с Дуровым. Не знаю, как реагировал Г. А. на появление статьи. Но он нисколько не устыдился своего сотрудничества с Дуровым, дружбу и общение с ним сохранил. В рассказах же своих о нем никогда не упоминал о всей этой истории как о чем-то для него зазорном. Иванцов же был настолько бестактен, что не постыдился на 60-летнем юбилее Г. А., т. е. уже через много лет, выступая с приветствием от Наркомпроса, в котором он тогда работал, сказать, якобы в похвалу демократичности юбиляра, что он публично выступал вместе с клоуном.

Также еще в довоенное время Г. А. прославился еще одним делом. — В Москве была широко известна хлеботорговая фирма Чуева, имевшая магазины во всех районах города. Однажды Г. А. показалось, что французские булки, принесенные из булочной, маловаты размером. Он взвесил их на лабораторных весах и обнаружил, что то ли все они, то ли некоторые не достигали положенного веса на какие-то граммы или доли грамма. Это его возмутило. Выяснилось, что булки были куплены в ближайшей булочной Чуева. Г. А. разразился статьей, кажется, в «Раннем утре», довольно легковесной газетке, в которой написал, как Чуев обкрадывает покупателей, сколько он недодает хлеба в итоге мелких недовесов и т. п. Нужно знать, какую роль играла добрая репутация для любой фирмы, особенно же для торгующей товаром такого всеобщего потребления как хлеб, чтобы понять, как всполошился несчастный Чуев, имевший очень мощных конкурентов и тративший много денег на рекламу своих изделий. Кажется, он попросил составить комиссию, которая, конечно, установила, что вес его булок колебался в очень малых пределах и притом в обе стороны. Но скандал все же был произведен, и Чуев в результате его, несомненно, пострадал. А Г. А. остался при своем мнении и даже выпустил за свой счет какую-то тоненькую брошюрку, в которой его отстаивал. И над статьей его, и над брошюркой, продававшейся по цене в 1 копейку, сильно потешались. Была пущена реклама-прибаутка: «А вот по копейке книжки профессора Гришки!» Но и об этой истории через много лет Г. А. рассказывал мне со всей серьезностью и сохранял уверенность, что он правильно действовал в интересах общества. Мысль же, что профессору Московского университета не к лицу вымеривать граммы в булочках и публично выступать со своими обличениями, очевидно, не приходила ему в голову ни в свое время, ни позднее.

При своем вполне искреннем демократизме Г. А. никак не придерживался левых политических взглядов. И в этом он также продолжал традиционную линию Зоологического музея. Левизной не грешили ни Богданов, ни, тем менее, Тихомиров. Хотя прямо он мне этого никогда не говорил, но, насколько я могу судить сам, Г. А. по своим политическим убеждениям был где-то справа от кадетов, но не очень далеко справа и, конечно, уж никак не симпатизировал Союзу русского народа. Мензбир, возглавлявший кафедру сравнительной анатомии, был либералом кадетского толка. Также, по-видимому, и его преемник Северцов. Кольцов, обосновавшийся на Высших женских курсах, присоединенных после революции к университету, был то ли социалистом, то ли заигрывал с социалистами. А уж вполне социалистический дух царил среди зоологов, связанных с возникшим незадолго до войны Народным университетом имени Шанявского (бр. Завадовские, Серебровский, Роскин, Кан и др.). Университетские профессора-кадеты после введения министром просвещения Кассо так называемого «полицейского режима» (в 1911 г.) демонстративно ушли из университета. Г. А. этого шага не сделал, что повредило его репутации среди либерально настроенной интеллигенции. Не очень поднимали его в общем мнении и лекция о думающих животных, и сотрудничество с Дуровым, и скандальная история с Чуевым. Верно, все это не возбуждало сильно неприязненных чувств к нему, а больше вызывало отношение ироническое. Если же учесть, что и внешние данные Г. А. — его толстота, голос, — а также его бонвиванство, истории с дамами (по-видимому, все же довольно невинные) и т. п. давали повод для всяких анекдотов, то легко понять, что он сделался достаточно заметной фигурой в Москве, а подсмеиваться над ним и всячески его вышучивать стало модным занятием для любителей увеселять публику. Шутки же над ним откидывались иногда и довольно злые.

На таких шутках специализировался один известный московский адвокат, фамилию которого я не запомнил. О нем мне рассказывал большой любитель академичес-

ких анекдотов и тоже очень типичный для Московского университета профессор А. А. Борзов. Одна из шуток этого адвоката заключалась в следующем. — Г. А. был большой любитель покушать. Несмотря на вполне хорошую постановку пищевого дела у него дома, он довольно часто отправлялся в «Большую Московскую», чтобы съесть какое-нибудь особо им любимое блюдо в полное свое удовольствие. Там его и излавливал этот адвокат. Он бурно приветствовал Г. А. и подсаживался к его столику. Себе он никакой еды не заказывал, объясняя, что он, собственно, сыт, а в ресторан пришел для деловой встречи с кем-то. Г. А. приносили заказанное блюдо, и он принимался за него. Адвокат, продолжая свою болтовню, что уже само по себе не доставляет удовольствия человеку, принимающему пищу в одиночку, вскоре восклицал: — «Ах, Григорий Александрович, вы так аппетитно кушаете, что и мне захотелось». Тут же он подзывал лакея и распоряжался принести для себя прибор. На вопрос Г. А., что же он намеревается себе заказать, он развязно отвечал, что он ведь не хочет есть по-настоящему, а только возьмет небольшой кусочек от порции Г. А. — «Вы позволите?» Г. А. с большим неудовольствием мычал: «Пожаауста». Но тот, словно не замечая досады Г. А., преспокойно отрезал себе кусок жаркого и принимался его есть, запивая вином, также заказанным Г. А. За этим куском следовал второй, и в результате Г. А. оставалось не больше половины заказанного блюда, а главное — у него пропадало все удовольствие от запланированной одинокой пищевой оргии. Нахал же, обижая его таким способом, после еще раззванивал о своих проделках по московским гостиным.

Как я сказал, еще до поступления в университет я много наслышался о Г. А. от отца, а также и от разных знакомых, имевших то или другое отношение к университету. При этом все рассказы о нем были иронические и комические. Перед самым же моим поступлением, летом 1920 года с ним произошел один случай, едва не стоивший ему жизни, но, как и все, что было с ним связано, отчасти окрасившийся в комические тона.

Н. Н. Плавильщиков, бывший тогда ассистентом Г. А., получил в банке какие-то суммы для Музея. Принесенные миллионы Плавильщиков доставил Г. А. на квартиру, которая помещалась в здании Музея и имела непосредственный выход через лестничную площадку в верхний выставочный зал. Г. А., сидя за столом, стал считать полученные деньги, склонившись над ними. В это время Плавильщиков выхватил револьвер и произвел два выстрела ему в голову, почти в упор, после чего направился к выходу. На выстрелы в комнату вбежала Ирина, прислуга Г. А. Плавильщиков выстрелил и в нее. Ранил в шею. Ирина упала. Лежал оглушенный и Г. А. Однако оказалось, что маленький «Смит и Вессон» Плавильщикова был слишком слабым оружием, чтобы пробить черепную крышку Г. А. Одна пуля просто расплющилась об нее, а другая, попав под каким-то счастливым углом, рикошетировала. Плавильщиков вышел из квартиры ходом, ведшим в музей, спустился в нижний этаж и пришел в

гистологическую лабораторию, где работал А. В. Румянцев. С ним он стал, как ни в чем не бывало, разговаривать о всяких вещах. Из окон лаборатории, выходивших на двор, они вскоре увидали, как перед подъездом, ведущим в квартиры, собирается толпа. «Что там произошло?» — спросил Румянцев. «Не знаю, — ответил Плавильщиков, — пойду посмотрю». И пошел на квартиру Г. А. Когда он туда входил, санитары скорой помощи как раз проносили мимо него раненую Ирину, которая тут же и закричала: «Вот он, вот он!» Плавильщикова немедленно схватили и доставили в ВЧК.

Как выяснилось позднее, Г. А. довольно скоро очнулся от контузии. Окровавленный, он стал кричать в открытое окно о помощи. Говорили, что будто он вопил: «Караул! Убивают профессора Кожевникова!» Не знаю, насколько это правдиво. Во всяком случае, народ сбежался, и обоим раненым была оказана помощь.

Все поведение Плавильщикова было настолько странно и настолько его поступок не был ничем обусловлен (его отношения с Г. А. до этого случая были самые нормальные), что в Чека очень скоро догадались прибегнуть к медицинской экспертизе. Таковую произвел врач-психиатр Н. С. Молоденков, который спустя около 14 лет, когда я с ним познакомился, рассказал мне об этом случае в своей практике. Был констатирован типичный острый припадок шизофрении. Плавильщикова препроводили в психиатрическую лечебницу, из которой он через какое-то время вышел. Но, конечно, продолжать работу в Музее он уже не мог. Г. А. был уверен, что он намеревался убить его по каким-то низким мотивам, боялся его и строжайше запрещал своим ученикам иметь какое бы то ни было общение с ним. Я этот запрет потихоньку нарушал, так как соприкасался с Плавильщиковым по своей специальной работе. Да и сомнения быть не могло, что во всем том случае не было ничего кроме припадка безумия.

Трагическая сторона описанного происшествия как-то быстро забылась. Но анекдоты о необычайной крепости черепа Г. А. и о том, как он кричал, что его убивают, остались для потехи тех, кто может над такими вещами смеяться.

Я поступил в университет в 1920 г. осенью. В том же году весной его окончил Е. С. Смирнов, которого я знал, примерно, с 1915—1916 года. Он был знаком с моим отцом и приезжал к нам в Удельную, где совершал совместно с ним энтомологические экскурсии, в которых принимал участие и я. Будучи оставлен при университете и ставши ассистентом Г. А., он сразу же принялся очень энергично группировать вокруг себя студентов, интересующихся энтомологией, главным образом, систематикой насекомых. Хотя я еще с гимназических лет собирал насекомых и уже разбирался в систематике жуков, все же, намереваясь стать зоологом, я не был уверен, что обоснуюсь в Зоологическом музее. — Слишком уж много я наслышался о Кожевникове как о чудаке и ученом сомнительного достоинства. В то же время все мои тогдашние знакомые и приятели превозносили Северцова, Мензбира, Кольцова. Вполне могло

бы случиться, что к кому-нибудь из них я и поступил бы в лабораторию. Но при первом же своем появлении в университете я встретился с Е. С. Смирновым, который даже и не спросил меня, в какой лаборатории я намерен специализироваться, а считал само собой разумеющимся, что единственное подходящее для меня место — Зоологический музей. Я тоже, конечно, был доволен, что сразу же встретил хорошего знакомого, при содействии которого немедленно мог приступить к занятиям, вполне для меня интересным.

Г. А. я увидал впервые еще в прошлом году, когда вместе с С. С. Четвериковым пришел на заседание Фаунистической комиссии, на котором тот делал доклад. Теперь же я встретился с ним в первый раз на его лекции по зоологии беспозвоночных, основному для меня курсу, который при поступлении я добросовестно намеревался слушать. Он тогда, т. е. в конце сентября, все еще ходил с перевязанной головой, так как его рана еще не совсем зажила. Хотя университет в 1920 году уже начали отапливать, но еще недостаточно. В некоторых помещениях, особенно же в большой зоологической аудитории, было холодно. По-видимому, по этой причине, а может быть и для того, чтобы лучше держалась повязка, Г. А. надевал еще вязаную лыжную шапку. Сверху он был одет в рыжую охотничью куртку, а обут в белые бурки, какие также чаще всего носили охотники. На скуле под левым глазом и по щеке у него были рассыпаны синеватые пятнышки от порошин, попавших при выстреле. Они сохранились у него на всю жизнь.

Я не помню, чтобы Е. С. когда-либо официально представил меня Г. А. Вероятно, видя меня постоянно в числе других смирновских студентов, занимающихся насекомыми, Г. А. сам догадался, что я — один из вновь поступивших энтомологов. Кроме того, он видел меня на своем зоологическом семинарии (теперь сказали бы семинаре), на заседаниях Фаунистической комиссии, разных обществ, возможно, что-нибудь слышал обо мне от того же Е. С. или от В. В. Алпатова. Одним словом, он постепенно привык к моему присутствию в Музее. И этого при его простоте и свободе от формализма было для него достаточно. Живя в квартире, примыкающей к Музею, Г. А. появлялся в разных его помещениях в самое различное время. Я тоже проводил в Музее почти целые сутки. Поэтому возможностей встреч с ним у меня было очень много, особенно если принять во внимание, что мое рабочее место находилось в библиотеке Музея, которой заведовал Е. С. Смирнов и в которой работал он сам. В библиотеку же Г. А., конечно, приходил часто. Так мало-помалу у меня завязалось более близкое знакомство с ним уже с самого первого года моего пребывания в университете.

Сказав, что я проводил в Музее почти целые сутки, я не прибег к гиперболе. — Я действительно поселился в нем. А произошло это следующим образом. — С. И. Огнев, хотя он и имел квартиру или, может быть, только комнату в новом здании университета, предпочитал жить не в ней, а в своем музейском кабинете,

помещавшемся на третьем этаже. Нужно думать, что ему было удобно всегда иметь под рукой свои коллекции, которые дома хранить было негде. Да и жил он холостяком после того, как, женившись еще довольно давно, при каких-то таинственных обстоятельствах развелся с женой очень скоро после свадьбы. Первые годы после революции были довольно неспокойные. Нередко происходили грабежи. В Музее же всегда хранился спирт, служивший для консервации зоологических коллекций. А спирт в то время полного запрета продажи всяких алкогольных напитков представлял исключительную ценность и был большим соблазном. Из-за него Музей мог ожидать нежелательных посещений. Поэтому С. И. время от времени совершал по ночам сторожевые обходы Музея, вооружаясь в этих случаях охотничьим ружьем. И вот поздней осенью 1920 г. во время одного из таких обходов он действительно натолкнулся на грабителей, проникших в Музей через окно подвального этажа. Встреча окончилась благополучно. — Воры убежали. С. И. говорил, что воры стреляли в него, а он в них. Не знаю, было ли это правдой. Но событие это всех обеспокоило, и тогда, с благословения Г. А., было решено, что кто-нибудь из сотрудников Музея должен оставаться в нем на ночь. На это дело вызвался Е. С. Смирнов, подговорив ночевать с ним вместе в Музее также Б. Б. Родендорфа, поступившего в университет одновременно со мной, и меня. Нас, как, впрочем, и самого Е. С., это очень устраивало. — У всех дома была теснота, было не очень тепло, трамваи еще не ходили и путешествовать в университет приходилось пешком. А в Музее был простор, он отапливался, в нем был газ, на котором можно было кипятить чай, а главное — живя в нем, можно было заниматься тотчас с утра и до самой поздней ночи. Обедать, конечно, приходилось ходить домой, но это нужно было делать и живя дома, а после опять идти в университет. Здесь я должен напомнить, что в то время никому из нас и в голову не могло придти, что для работы достаточно одной лишь первой половины дня. У меня дома было особенно сильное перенаселение, и заниматься там не было никакой возможности. Поэтому переход на ночевку в Музей был мне очень кстати.

Библиотека Зоологического музея помещалась в продолговатой комнате первого этажа, выходившей окнами в Долгоруковский переулок. Вдоль трех ее стен шли высокие книжные шкафы. У оконной стены по всей ее длине стоял большой лабораторный стол, над которым справа и слева было укреплено по стенному шкафику. Середина комнаты была занята большим простым столом, на котором стоял каталожный ящик с библиотечными карточками, оставлявший свободной значительную часть стола. Из прочей мебели в библиотеке был диванчик, обыкновенный шкаф, в равной мере пригодный для хранения как лабораторных, так и хозяйственных предметов, и конторка, игравшая важную роль в нашем хозяйстве. — В ящике под ее крышкой мы хранили свою немудрую посуду и харчи, пространство же между ее ножками было забрано снаружи фанерными щитами и служило для помещения

постельных принадлежностей. У одной из стен была раковина водопровода, а над ней стенное зеркало. Таким образом, эта комната была вполне приспособлена как для работы, так и для житья. Библиотека — помещение публичное. Поэтому с самого утра она должна была приводиться в порядок. Мы вставали с таким расчетом, чтобы к девяти часам успеть закончить свой туалет, убрать постели и напиться чаю. Е. С. спал на диване, Родендорф на библиотечном столе, а я стелил свой тюфяк на полу в углу против входной двери.

Конечно, такое существование было возможно только при холостом образе жизни. Первым его прекратил Б. Б. Родендорф, относительно рано начавший вить свое гнездо. Затем, по этой же причине, а отчасти и потому, что имел более приличные условия жизни на квартире родителей, оставил библиотеку Е. С. Смирнов. Я же выселился из нее только в 1930 г., когда университетская вольница уже кончилась и хозяевами университета стали не профессора, а официальные власти вроде проректоров по хозяйственной части, комендантов, ну и, конечно, — «общественные организации». Из 10 с лишним лет проживания в библиотеке Музея пять я жил в ней один.

Эта жизнь и до сих пор представляется мне просто сказочной. При тогдашней жилищной тесноте редко кто имел в своем распоряжении квартиру, да и то этот счастливец занимал ее не один, а с семьей. В моем же полном единоличном пользовании была даже не квартира, а целое большое здание. В 9 часов вечера Музей, если только в нем не шло никакое заседание, запирался, и ключ от его двери, выходившей во двор, дежурный служитель передавал мне. Бывало, что кто-нибудь из музейских или из лаборатории Н. В. Богоявленского (эмбриологии и гистологии) имел надобность задержаться позже. В этом случае они договаривались со мной, чтобы я их выпустил. Чаще же с уходом служителя я оставался в Музее, как в крепости. Войти в него можно было только с моей помощью. Для этого нужно было очень сильно стучать во входную дверь или бросить чем-либо в окно, против которого я занимался. Но то и другое делалось по предварительной договоренности. Иногда же, обычно если моим гостем была особа женского пола, я в назначенное время выходил встретить ее к одной из ближайших трамвайных остановок.

Впрочем, сказав, что я оставался один во всем здании, я был не совсем точен. — В своем кабинете на третьем этаже до новой своей женитьбы, т. е., кажется, до 1928 г., продолжал жить С. И. Огнев. А в нижнем этаже, в том же коридоре, где была библиотека, находился кабинет Б. М. Житкова, в котором он тоже довольно часто ночевал. С ними обоими у нас как бы был заключен тайный пакт максимального невмешательства. Ни один из них не заходил в библиотеку вечером, если дверь в нее не была открыта. Огнев, если и приходил иногда, то особенно не задерживался, так как отношения между нами никогда не были особенно близкими, хотя и всегда вполне хорошими. С Б. М. Житковым я очень дружил, и он нередко захаживал ко мне вечером или утром, чтобы вместе пить чай. О нем я непременно хочу написать в этих записках, так как вспоминаю его всегда с самой большой любовью.

В одном здании с Музеем, как сказано, помещался также Институт сравнительной анатомии. Он тоже был обитаем ночью. В одном из его кабинетов очень долго жил С. Г. Крыжановский, некоторое время обитал там А. А. Машковцев и порой М. П. Розанов. С этим институтом сообщались квартиры А. Н. Северцова и Б. С. Матвеева. Поэтому вся северцовская компания (его сын со своей женой, другие ассистенты, часто и студенты) нередко устраивала свои шумные вечерние собрания в лабораториях. В этих веселых предприятиях иногда участвовал и я. Но все же северцовский институт был уже другим царством, и обычно по вечерам дверь, которой он сообщался с Зоологическим музеем, была заперта.

Г. А. Кожевников после обеда, который бывал у него в 5 часов, обычно ложился спать и спал довольно долго, часов до 8. После сна он читал, писал, готовился к лекциям или же шел на какое-нибудь научное заседание, которых тогда в университете было очень много. Перед ночным же сном он имел обыкновение совершать обход Музея. Во время этих обходов, происходивших очень поздно — не раньше часов одиннадцати, а то и в 12, в час, порой даже во втором часу ночи, — он заходил обычно к одному из обитателей Музея: к Огневу, Житкову или ко мне. Эти-то ночные посещения и сопровождавшие их беседы дали мне возможность узнать Г. А. ближе.

Я уже говорил, что Г. А. в обращении был очень прост. Добавлю к этому, что был он даже с нами немного грубоват. Если кто-нибудь из нас (я имею в виду молодежь) его сердил, то он мог не только нас отчитать, но и накричать, впрочем, никогда не употребляя сколько-нибудь грубых или оскорбительных слов. Называл он нас очень долгое время просто по фамилии: — «Кузин, подите сюда». Только уже году на третьем знакомства стал называть по имени и отчеству. Но при всем этом он был очень деликатен. По вечерам в библиотеке мы далеко не всегда занимались наукой и не всегда пили только чай со скромной закуской. Нередко мы там и веселились, причем довольно шумно. Такое провождение времени с алкоголем и часто с совсем не известными Г. А. людьми ни разу не вызвало с его стороны никакого замечания. Если застигнутое Г. А. общество состояло только из одних своих, т. е. из музейских, то он нередко соглашался принять участие в веселом собрании и выпить стакан вина, если оно было хорошее. Компанию он никогда не тяготил. Рассказывал всякие веселые истории из времен своей молодости, о шумных «Bierreisen»* немецких студентов и профессоров, в которых он принимал участие, когда был в Германии, о прошедших университетских событиях, о своих учителях и товарищах. Никогда особенно долго не засиживался. Если же в компании был кто-нибудь чужой, то Г. А. не шел дальше дверей и, произнеся: «А, вы заняты», — удалялся.

* Шатаниях по пивным (*нем.*).

Кипятить чайник на лабораторной газовой горелке было занятием довольно долгим. Чтобы ускорить его, мы зажигали газ прямо у крана подводящей трубы. Пламя при этом получалось огромное, и чайник, подвешенный над ним на штативе, вскипал очень быстро. Г. А. с полным основанием запрещал такое пользование газом. Оно могло привести к взрыву или к пожару. Однажды он вошел в лабораторию, когда я кипятил чайник таким запрещенным способом. Он с возмущением начал на меня кричать: «Это черт знает что такое. Ведь я сколько раз вам говорил...» и т. д. Я поспешил закрыть кран, тем более, что как раз в этот момент чайник закипел. Г. А., не видя этого, почувствовал угрызения совести, что он лишал меня возможности напиться чаю. — «Ну зачем же вы закрываете? Вы уж сейчас докипятите. Только больше так не делайте». — «Григорий Александрович, чайник уже вскипел». Г. А. поворчал еще немного и ушел.

Нужно думать, что Г. А. так избаловал нас простотой обращения, что мы (во всяком случае я) просто не замечали ее, принимали как нечто само собой разумеющееся и не думали даже, что у профессора могут быть другие отношения со своими учениками, что они могут его побаиваться. Глаза мои на этот предмет раскрылись довольно поздно и вот при каких обстоятельствах. — На участке университетского сада, примыкавшем к зоологическому и химическому корпусам, в последние годы моего студенчества и еще год-два позднее мы (зоологи) играли в городки с химиками-органиками, учениками Н. Д. Зелинского. Они были несколько старше нас, т. е. все к тому времени были уже ассистентами, частью еще совсем молодыми, например, К. А. Кочешков, А. Н. Несмеянов, Б. А. Казанский, М. И. Ушаков, а частью и постарше: А. П. Терентьев, Н. И. Гаврилов. Играли, конечно, не в середине дня, а перед самым вечером. Однажды во время игры набежала туча и хлынул дождь, настоящий летний ливень, который должен был скоро пройти. Мы побросали городки и убежали в лабораторию органической химии, до двери которой путь с городковой площадки был немного короче, чем до музейской. Дождь затянулся несколько дольше, чем мы ожидали. Тогда А. Н. Несмеянов предложил мне сыграть с ним быструю партию в шахматы. Это занятие я очень любил и охотно согласился. Мы уселись на высоких лабораторных табуретах за одним из химических столов и принялись играть. В какой-то момент игры в лабораторию вошел Зелинский. Я встал и приветствовал его самым веселым образом: «Здравствуйте, Николай Дмитриевич!» Он едва кивнул мне и прошел дальше по лаборатории. Тут я заметил, что Несмеянов и присутствовавшие при нашей игре Ушаков и Терентьев стоят навытяжку и, глядя вслед профессору, в явном смущении переглядываются между собой. Зелинский больше мимо нас не проходил. Но наша игра уже не возобновилась. Чувствовалась какая-то неловкость. Я обратился к химикам: «Что же вы не сказали, что у вас играть неудобно? Ведь мы могли бы пойти пережидать дождь ко мне». Они успокоительно бормотали: «Ничего, ничего...» Но я только тут понял, до чего наши отношения с Г. А. проще, чем у более взрослых наших коллег-химиков с их патроном. Верно, зато этот патрон был их учителем в полном смысле слова. Всех их он поставил на верную дорогу, всех продвинул еще при своей жизни. Но никакие блага не даются даром...

Писать о Г. А. — значит почти беспрерывно сообщать какие-нибудь анекдоты о нем. Я не вижу в этом особого греха. Но мне не хочется оставить впечатление, точно я воспринимал этого человека только с комической стороны и в таком духе вспоминаю его и теперь. Это было бы большой несправедливостью, а для меня, кроме того, и неблагодарностью. Мне очень хотелось бы, чтобы читатель этих записок почувствовал к нему такое же искреннее уважение, какое чувствую я сам.

Г. А., несомненно, не был выдающимся ученым, с именем которого связаны крупные открытия в зоологии. Но так ли уж сильно превосходили его в этом отношении другие тогдашние профессора-зоологи? Из московских наибольшие научные заслуги имели А. Н. Северцов и Н. К. Кольцов. Но первый из них, собственно, завершал плеяду ученых, создавших последарвинскую сравнительную анатомию, и пока разрабатывал конкретные ее вопросы, был лишь их хорошим продолжателем. Переход же Северцова к так называемым «общим вопросам» и его теоретические рассуждения о способах эволюции я считаю несомненым его регрессом как ученого. Второй также дебютировал классическим сравнительно-анатомическим исследованием, а затем дал лишь немного работ, достаточно хороших, но тоже не составивших эпохи в зоологии. Во всяком случае, оба этих имени не стоят в одном ряду с именами Мечникова, Ковалевского, Гертвигов, Вейсмана, Коршельта, Делажа, Гольдшмидта и других зоологов второй половины прошлого и начала нашего столетия. Весьма уважаемый всеми М. А. Мензбир был, в сущности, хорошим профессором и популяризатором. Его «Птицы России», книга, создавшая ему широкую известность, — не более как обстоятельная критическая сводка. Но за ним нет ничего, что могло бы в какой-то мере считаться открытием. Его специальные работы были вполне заурядны. А как эволюционист он до конца своих дней так и не перешагнул уровня восьмидесятых годов прошлого столетия. О М. М. Новикове я судить не могу, поскольку расцвет его научной деятельности относится ко времени пребывания его в эмиграции и с его работами этого периода я как-то не успел ознакомиться. Н. В. Богоявленский — еще один профессор-зоолог старшего поколения — в научном отношении был величиной значительно меньшей, чем Г. А.

Но здесь я и не пытаюсь оценить Г. А. как ученого, а говорю о нем как о руководителе лаборатории, в которой я вырос. И тут я рассматриваю как большую удачу для себя, что он не относился к тому типу учителей, которые делают из учеников своих помощников и требуют от них работы в интересующем их самих направлении и полного разделения своих взглядов. Г. А. отличался исключительной терпимостью. Это не значит, что он не имел никаких собственных взглядов в науке. Они у него были. Но он их никому не навязывал. Мне в молодые годы, как и большинству

биологов, начиная со времени Дарвина и вплоть до наших дней, казалось, что вопросы эволюции составляют самую сущность всей биологии. Г. А. же очень редко и мало говорил о них. Как можно было понять, он разделял дарвинскую концепцию в ее более или менее общепринятой форме, т. е. со значительной долей ламаркизма и без крайностей неодарвинизма. Но мы, ставившие перед каждым зоологом вопрос «како веруеши?», имея при этом в виду только его отношение к эволюционным воззрениям, принимали нейтральность Г. А. в этом пункте за его ограниченность. Я тогда еще не дорос до того, чтобы оценить должным образом, что он прекрасно знал конкретную зоологию, чтобы понять, что такое знание — большая ценность само по себе и что достигнуть его очень нелегко. И в самом деле, зоологов в полном смысле этого слова очень немного. Обычно мы имеем дело с энтомологами, протистологами, малакологами, орнитологами и т. п. Г. А. знал хорошо все группы животных, не исключая и позвоночных, хотя он читал только курс беспозвоночных. Но дело не только в знании. — Оно может быть хорошим, но при этом только профессионально-научным. Такое знание вполне достаточно для физика, химика или геолога. Но его мало для биолога и особенно для зоолога. Я глубоко убежден, что настоящий интерес к зоологии и полное понимание ее предмета немыслимо без любви к животным, без восхищения их красотой и без удивления перед их организацией и поведением. Г. А. относился к животным именно так. Мы же не только не ценили этого, но даже вышучивали «наивность» Г. А. Нам казалось смешным, когда он, демонстрируя на лекции геккелевские рисунки радиолярий, говорил по поводу бесконечного разнообразия их строения: — «И вот мы видим это удивительное богатство форм и не можем понять его значения. Откуда оно? Зачем?» Нам и в голову не приходило, что Г. А. ставит перед нами самый главный вопрос биологии, — вопрос формы, этого самого удивительного, самого чудесного проявления жизни, которое, вероятно, дольше всего другого будет оставаться ее загадкой.

Эволюционное учение на долгое время привлекло главное внимание биологов к вопросам генезиса органического мира. История полностью возобладала над онтологией. Это оправданно. Но только с точки зрения моды. Сам по себе генезис нисколько не более важен, чем бытие. Но мы выросли в духе и в понятиях своего века. И этот век преобладания исторического аспекта в биологии не минул и до настоящей поры. Г. А. не был склонен углубляться в натурфилософию. И он тоже был полностью сыном своего века. Но, очевидно, где-то в глубине он сохранял гетеанский подход к природе, исчезнувший (я уверен, временно) под влиянием историзма. До понимания этого в студенческие годы я попросту не созрел. А созреть можно было не путем чтения спекулятивных и в методологическом отношении крайне слабых сочинений эволюционистов, а через изучение фактов конкретной зоологии при непременном условии, что такое изучение не будет только литературным, но что животные — все равно, какие — будут перед твоими глазами и в твоих руках. Этот путь, конечно, нелегок, а разглагольствование на «общебиологические» темы гораздо больше импонирует бойким юнцам, чем скрупулезное собирание и осмысление конкретных данных о жизни и строении животных. Но я и мои сверстники в те годы находились лишь в начале знакомства с наукой. А рассуждениями на тему об эволюции были напичканы вполне достаточно.

Я уже говорил, что при Зоологическом музее существовал так называемый семинарий, организованный и руководимый Г. А. На этом семинарии сотрудники Музея и студенты докладывали результаты своих работ, а чаще реферировали какие-нибудь новые зоологические статьи и книги. Последнее нередко делал сам Г. А. На одном из заседаний семинария зашла речь о работах А. О. Ковалевского. Я в то время только что прочитал несколько работ палеонтолога Владимира Ковалевского, брата Александра. Их ламаркистский дух пришелся мне очень по вкусу. Не могу теперь без улыбки подумать, сколько нужно было иметь невежества и глупой самоуверенности, чтобы заявить, примерно, такую чушь. — Ну, конечно, Александр Ковалевский много насобирал всяких фактов о строении и развитии животных. Но нужна ли для этого особая гениальность? — Другое дело его брат Владимир. Как остроумно он объяснил эволюцию конечностей копытных в связи с их функцией. Одно такое объяснение стоит сотен анатомических и эмбриологических описаний. — Нужно при этом сказать, что ни одной работы Александра Ковалевского я сам не проштудировал, а был знаком с ними главным образом по ссылкам на них в учебниках, руководствах и статьях разных авторов. Г. А. ужасно возмутился моим выступлением. Он довольно прямо заявил, что я говорю глупости. К его простоте и прямоте все мы привыкли, и проборки, которые он иногда нам устраивал, не производили на нас особого впечатления. Так я отнесся и к этой нахлобучке, будучи про себя уверен в своей правоте. Кажется, даже что-то возражал ему. Но Г. А. оценил мою вылазку более серьезно. Она его сильно огорчила. Об этом он сказал Е. С. Смирнову, как старшому над студентами-энтомологами и распространителю среди них заразы ламаркизма. Но, что было хуже одного только огорчения, — Г. А. заколебался в своих планах относительно моего будущего. Он сказал Е. С., что намеревался оставить меня после окончания курса при университете (теперь сказали бы — в аспирантуре), а теперь сомневается, стоит ли это делать. Е. С., конечно, рассказал об этом мне. Должен сказать, что это сообщение меня гораздо больше обрадовало, чем испугало. До окончания университета мне тогда еще оставалось года полтора. За это время я вполне мог загладить свою вину перед Ковалевским. Но, учась без особого усердия и занимаясь систематикой и морфологией жуков, а также принимая деятельное участие в спорах о высоких материях и не менее деятельное в разных веселых предприятиях, я никак не предполагал, что проявил себя каким-либо образом так, что может стоять вопрос о моем оставлении при университете. До введения института аспирантуры такое оставление было делом нешуточным, и выпадало оно на долю

наиболее проявивших себя в науке оканчивающих студентов. Мне и в голову не приходило, что это может случиться и со мной. Во всяком случае, я никак не ставил себе задачей добиться этого. Выслушав сказанное мне Е. С., я просто обалдел от радости и почувствовал сильный прилив крови к голове. Вероятно, Е. С. истолковал мое густое покраснение как признак стыда за свое недостойное поведение. Но во мне все ликовало. — Черт с ним, в конце концов, оставит ли меня Г. А. в Музее. Довольно того, что он собирался это сделать. Значит, все-таки, другие как-то оценивают мои способности. Сам я во все поры своей жизни, а особенно в детстве и в молодости, сильно в них сомневался. (Кстати, думаю, что такое сомнение в итоге приносило мне больше радостей, чем огорчений.) Как и следовало ожидать, Г. А. простил мне через некоторое время мое прегрешение.

Но из сообщенного случая никак нельзя делать вывод о научной нетерпимости Г. А. Совсем напротив, — он позволял своим ученикам, и младшим, и старшим, исповедовать какие угодно научные верования, как допускал также выбор ими любой тематики. Если он и мог возмутиться явно глупым высказыванием, то просто даже удивительно, как рано он начинал трактовать еще очень зеленых молодых людей как ученых и как серьезно относился к их часто совсем незрелым мнениям. Прямым следствием этого было, что в Зоологическом музее скопилось наибольшее против всех других зоологических кафедр количество молодежи, входящей в науку. При этом почти исключительно мужской. — Студентки предпочитали специализироваться в лабораториях, где было обеспечено более твердое руководство, но не было необходимости самостоятельно выбирать себе предмет занятий. Нам же эта самостоятельность была предоставлена в полной мере, а вместе с ней и полная возможность ошибаться и заблуждаться. Мне трудно говорить о всех своих коллегах, но про себя самого я могу сказать, что использовал эту возможность очень полно. И трудно даже представить, какую массу всякой ненужной работы я проделал, выбираясь на свою научную дорогу. Но теперь вполне чистосердечно могу сказать, что нисколько об этом не жалею. Зоологический музей не был питомником, в котором выращиваются только строго определенные виды кустов и деревьев, тщательно подстригаемых с целью придания им заранее намеченной формы. Это был скорее не очень упорядоченный сад, в котором позволялось расти самым разным растениям, и им давалась возможность принимать ту форму, какая сама получалась как следствие заложенных в них возможностей и условий произрастания. И садовником в этом саду был Г. А., который главное такое условие видел в предоставлении свободы роста и в проявлении интереса к каждому из своих питомцев. При этом он был избавлен от неприятной необходимости выпалывать плевелы в своем саду. Они, конечно, заводились, но исчезали сами, не будучи в состоянии расти самостоятельно. И кто знает, — не была ли такая система именно той, какая и должна быть в университетах. Должен ли вообще университет быть училищем? Может быть, в отличие от других высших

учебных заведений, задачей университетов должно быть воспитание только ученых? Тогда все элементы ученичества должны быть в них сведены к минимуму. А при этих условиях в них поступали бы только те, кто имеет настоящий интерес и способности к занятию наукой.

Если Г. А. и не вышколивал нас, то, во всяком случае, он нас определенным образом воспитывал. Например — на семинарии и в беседах, которые вел с нами по поводу наших работ. И о каждом из нас он создавал себе представление, как я мог убедиться, — достаточно верное. Он хорошо и правильно оценивал способности своих учеников, их общую одаренность. широту интересов. Последнее особенно относилось к зоологии. Г. А. требовал, чтобы каждый из нас знал ее достаточно широко. Ко времени, когда я приближался к окончанию университета, у меня были с Г. А. уже достаточно близкие отношения и он нередко разговаривал со мной о моих коллегах. Очень тихий и скромный А. Н. Желоховцев, специализировавшийся по одной группе насекомых и никогда не выступавший на научных заседаниях со своими мнениями или замечаниями, казался Г. А. слишком узким специалистом. Мне было обидно, что о других, нисколько не более способных и знающих, но более бойких, самонадеянных, а иногда и просто нахальных, он был более высокого мнения. Я несколько раз, когда заходила речь о Желоховцеве, пытался изменить оценку, которую ему давал Г. А. Мои доводы наконец поколебали его. Как-то он сказал мне: «Хорошо, я посмотрю, на что способен Желоховцев. Сейчас только что получен выпуск „Tardigrada“* Кюккенталевской серии „Handbuch der Zoologie“**. Группа эта трудная, мало изученная и далекая от насекомых. Я предложу Желоховцеву прореферировать эту монографию. Если он с этим справится, то я соглашусь оставить его при университете». Я, конечно, растолковал Анатолию, какое значение для него может иметь это предложение Г. А. Он уселся за изучение Кюккенталевских тардиград, разобрался в материале, увеличил для демонстрации необходимые рисунки из книги и вполне успешно доложил на семинарии о строении, развитии и систематическом положении этих животных. Успех был полный, и Г. А. решил, что Желоховцев заслуживает оставления в Музее. Я знаю, что далеко не каждый научный руководитель может изменить сложившееся у него мнение о своем ученике и сделать из этого должные практические выводы.

Экзамен по зоологии беспозвоночных, несмотря на обширность этого предмета, не считался особенно трудным для студентов, не специализировавшихся у Г. А. Для его сдачи достаточно было хорошо проштудировать известный учебник Холодковского. Студент мог не опасаться придирок со стороны Г. А. А ведь всякий экзамен только в той мере и страшен, в какой экзаменатор хочет провалить студента. Совсем другое значение сдача этого предмета имела для учеников Г. А. Для нас

* Медленно двигающиеся, тихоходные (*лат.*).
** Руководство по зоологии (*нем.*).

экзамен по зоологии беспозвоночных был самым ответственным и трудным из всего курса. Предмет этот студенты-биологи слушали обычно на первом курсе и сдавали экзамен по нему в конце второго семестра. Но от своих учеников Г. А. принимал его не раньше окончания ими большого практикума и специального курса по членистоногим, т. е. не раньше конца третьего года пребывания в университете, а чаще всего — перед самым его окончанием. И идти на этот экзамен, имея за душой только Холодковского, им и думать было нечего. О своем намерении сдавать зоологию беспозвоночных они должны были уведомить Г. А. заранее. Тогда он, в зависимости от специализации студента, указывал пособия, по которым надлежало готовиться. В число их входили также специальные зоологические работы, нередко журнальные статьи. При этом Г. А. не интересовался вопросом, какие языки знакомы экзаменующемуся, а рекомендовал наряду с русскими источниками также немецкие, французские и английские, энтомологам же иногда советовал по некоторым разделам просмотреть капитальное итальянское руководство Берлезе «Gli Insetti»*. Такой экзамен вполне приближался по объему требований к так называемым магистрантским, сдававшимся до революции перед защитой магистерской диссертации. Принимал его Г. А. обычно не в музейском кабинете, а у себя на квартире, нередко за чайным столом и в присутствии своей жены, Марьи Александровны. Длилась эта процедура не меньше часа, а то и полтора-два часа. Вопросы и ответы на них постепенно переходили в беседу, сначала чисто зоологическую, а затем и на другие, самые разнообразные темы. Помню, как однажды отправился сдавать этот экзамен перед окончанием университетского курса А. Д. Старостин. После экзамена, длившегося полтора часа, он вбежал ко мне красный, как после бани. — «Ну как?» — «Все благополучно. Только не мог ответить, какой клещ передает техасскую лихорадку. Ну да ничего.» — Конечно, меньшей отметки, чем «в.у.» после такого экзамена не ставилось. Получил ее и Старостин. Но вечером этого дня Г. А., зайдя ко мне, сказал: — «Мне нынче сдавал экзамен Старостин и очень меня огорчил. Он не знал, какой клещ разносит техасскую лихорадку.»

Сам я получил экзамен по зоологии беспозвоночных перед чисткой 1924 года авансом. Вскоре после этого заявил Г. А. о своем намерении сдавать предмет и спросил, что мне следует для этого прочитать. Г. А. предложил, чтобы я припомнил наиболее крупные сочинения по зоологии, которые я прочитал за время прохождения курса, и представил их список ему. Я это сделал. Через некоторое время он сообщил мне, что вместо одного формального экзамена, который уже и так проставлен в моей зачетной книжке, он предлагает мне несколько собеседований по группам животных, которые, как это было видно из представленного мною списка, я знал хуже других. Например, в этом списке почти отсутствовала литература по моллюскам. Г. А. предложил мне прочитать посвященный им том Ланга из серии «Vergleichende Anatomie der wirbellosen Tiere»* и после этого придти к нему. Разговор о моллюсках состоялся, кажется, за месяц до формального окончания мною университета. После этого Г. А. рекомендовал мне проштудировать по «Traité de zoologie concrète»** Делажа оболочников, которых, как он сказал, знают плохо все зоологи, не исключая и его самого, потому что они и не позвоночные, и не беспозвоночные, а потому мимо них проходят и те специалисты, и другие. Это собеседование произошло уже после того, как свидетельство об окончании университета (дипломов тогда не выдавали) лежало у меня в кармане. Затем по тому же Делажу мне было предложено углубить свои познания о кишечнополостных. На них мой рассроченный экзамен и закончился.

* Насекомые (*итал.*)

Если Г. А. заслуживает далеко не только иронического отношения, то все же остается фактом, что был он большим чудаком. И умалчивать мне об этом значило бы отказаться от обрисовки важных черт его фигуры, очень своеобразной и, как я сказал, характерной для старого Московского университета. О некоторых его чудаковатых поступках я уже рассказал. Даже в мрачную историю покушения на его жизнь не мог не вкрасться какой-то привкус комизма. И этот комизм проникал в каждое событие, происходившее с Г. А. А события и всякие странные случаи, редко выпадающие на долю других людей, на него так и сыпались. Я не буду приводить анекдотов, относящихся ко времени до моего знакомства с ним. Довольно и того, что случилось при мне.

Например, на каком-то заседании в Наркомпросе, в котором участвовал Г. А., на него упала висевшая на стене большая картина в довольно тяжелой раме. Она сильно стукнула и поранила Г. А. Он тут же позвонил по телефону домой и сообщил жене: «Маша, на меня упала картина. Я ранен, но я жив. Не беспокойся».

Однажды Г. А. появился в Музее забинтованный. У него были сильно ссажены нос и лицо. Он сказал, что упал в какой-то люк в неосвещенном подъезде. (В то время почти во всех домах парадные подъезды были закрыты и функционировали только черные лестницы.) О подробностях этого происшествия Г. А. ничего не сообщил. Но как-то стало известно, что произошло оно по пути в гости к одной интересной даме. Г. А. бережно нес в обеих руках большую коробку конфет для нее, и забота об этой ноше отвлекла его внимание от люка, вероятно, дровяного, ведшего в котельную.

При возвращении с одной зимней охоты у Г. А. лопнул погон ружья, висевшего через плечо. Трудно даже представить, каким способом пряжка погона могла угодить ему с силой в глаз.

Сойдя с трамвая на Моховой и ожидая, когда он пройдет, чтобы перейти на другую сторону улицы, Г. А. заметил, что на заднюю площадку навесилась большая гроздь пассажиров. Чтобы эта гроздь его не задела, он, спеша убрать с ее пути свой большой живот, резко повернулся. Вероятно, при этом живот развил большую

* Сравнительная анатомия беспозвоночных животных (*нем.*).
** Трактату по конкретной зоологии (*фр.*).

инерцию, а так как ступни оставались на месте, то связки голеностопного сочленения то ли растянулись, то ли лопнули. Г. А. почувствовал сильную боль, упал и был доставлен домой в карете скорой помощи.

В квартире Г. А. стала появляться крыса. Она выходила из кухни, где в полу, у трубы отопления или водопровода, была дыра, бродила по квартире и удалялась через ту же дыру. Г. А. проследил ее маршрут и составил план уничтожения крысы. Кухонная дверь открывалась в довольно просторный коридор, находившийся в середине квартиры. Было решено дождаться выхода крысы из кухни, после чего, закрывши кухонную дверь, отрезать ей путь к бегству, а на обратном пути, когда она окажется в коридоре, закрыть все другие двери, выходящие в него, и попавшую в безвыходное положение крысу застрелить. Для этой цели ружье было заранее заряжено двумя полузарядами мелкой дроби. В обычный час крыса вышла из кухни. Военные действия развертывались строго по плану. Дверь в кухню закрыли, крысу выпугнули в коридор, куда одновременно вошел Г. А. с ружьем, закрыв за собой последний выход. Крыса бешено заметалась по пустому коридору. Г. А. водил за ней стволами ружья, чтобы выбрать удобный момент для выстрела. Ища убежища, крыса наконец нашла его. — Она забралась в широкую штанину Г. А. Он неистово закричал. На этот крик из кухни выбежала Ирина. Г. А. отчаянно мотнул ногой. Крыса выскочила из штанины и бросилась в открытую кухонную дверь и дальше — в свою дыру. Но инцидент на этом не закончился. Неодобрительно относившаяся к плану уничтожения крысы Марья Александровна с самого начала описанной операции удалилась в свою комнату и заперлась в ней. Когда она услыхала возню в коридоре, а затем вопль Г. А., она взобралась на стол и принялась визжать. После благополучного для крысы и для Г. А. исхода охоты она продолжала кричать и не соглашалась ни отпереть комнату, ни даже слезть со стола. Об этом и сообщила мне по телефону Ирина, прося меня от имени Г. А. придти и помочь домашним уговорить М. А. выйти из своего заключения. Я, конечно, поспешил на место происшествия, но М. А. на столе уже не застал. Она вышла из своей комнаты и вела ожесточенную полемику с супругом. «Гриша, ты дурак, дурак, дурак! Вот я и при твоем ученике прямо скажу — ты дурак.» Г. А. робко представлял ей какие-то резоны, причем пытался прибегнуть к моему авторитету. Но М. А. твердила только свое: «Ты дурак!»

Все эти истории, поскольку они не оканчивались особенно трагично, давали поводы для веселого зубоскальства. Но оно кормилось не одними экстраординарными случаями, подобными описанным. Г. А. сам доставлял ему достаточную пищу всем своим повседневным поведением, как бы соперничая в этом деле с немилостивым к нему роком.

Начиналось с его утреннего появления в Музее. Оно обычно возвещалось громким взыванием. Г. А. звал дежурного служителя: «Фг'оу! Фг'оу!» (Фрол) или: «Маг'фа! Маг'фа!» (Марфа). Иногда вслед за этими призывами слышалась перебранка, состоявшая из укоров Г. А. по адресу запропастившегося служителя и из оправданий последнего, выражавшихся не в безукоризненно почтительной форме, особенно если собеседницей Г. А. была Марфа.

Нередко после своего утреннего посещения Музея Г. А. оставлял на доске объявлений или на какой-нибудь двери свой след в виде извещения о заседании семинария, Фаунистической комиссии или же в виде, как мы их называли, декрета, направленного на устранение тех или иных непорядков. Например, неэкономного расходования электричества, пользования газом без горелок и т. п. Неоднократно появлялись извещения о хищении электрических лампочек, особенно из уборных. Это явление подвергалось порицанию, а работавшие в Музее призывались всеми средствами бороться с ним. Такие же декреты появлялись и по поводу других пропаж. Литературная их форма была на большой высоте. Помню, одно из объявлений заканчивалось призывом к нам: «Будьте внимательны, наблюдательны и осторожны!»

Утренняя суматоха, сопровождавшая появление Г. А., была особенно велика в дни его лекций. Он демонстрировал на них много учебных таблиц и препаратов животных. Выбором их руководил Г. А. сам непосредственно, а служитель нагружался ворохами таблиц и стеклянными цилиндрами с заспиртованными червями, моллюсками, актиниями и т. п. и таскал все это в аудиторию. Эти предметы хранились в разных шкафах, ключи от которых постоянно терялись, или же в этих шкафах портились замки. Вот тут и начинался аврал. Г. А. громко отдавал распоряжения. — То пойти принести другую связку ключей, лежащую у него дома на такомто столе, то как следует поискать пропавший ключ, то попробовать отпереть шкаф другим ключом. По всему Музею слышались слова этих команд и реплики сбитых с панталыку Фрола и Марфы. Чаще всего дело кончалось приказанием вызвать Сергеева (столяра). Тогда дуэт Г. А. и Марфы переходил в трио. Затем наступала некоторая пауза, во время которой Сергеев работал отмычкой. Непокорный замок отпирался, и оснащение лекции наглядными пособиями возобновлялось. При этом иногда слышались коррективы, вносимые Г. А. в деятельность Марфы. — «Я же тебе сказал, что мне нужны таблицы Coelenterata, а ты принесла Arthropoda». Для меня всегда оставалось загадкой, каким способом совсем малограмотная Марфа отличала целентерат от артропод. Но Г. А. не очень заботился о придании большей доступности своей речи, обращаемой к служителям. Когда Марфа пыталась силой отпереть не поддающийся замок, Г. А., боясь, что она сломает ключ, кричал: «Марфа, не форсируй замок!»

Он и не только в разговорах со служителями употреблял излишне научные слова. Например, вместо того, чтобы сказать, что чай уже спитой, он говорил, что в нем больше не осталось эссенции. Почему-то очень упорно, хотя слово «мотор» вошло в самое широкое употребление, он произносил его на латинский лад — мо́тор.

Все эти воспоминания о Г. А. относятся ко времени, когда он был еще в своей полной силе и власти как профессор, возглавлявший одну из основных университетских кафедр, и как директор Зоологического музея, т. е. к той поре, когда профессора еще были достаточно полными хозяевами университета. Но времена менялись. Университет все больше терял свою автономию. Изменялся состав студентов. Среди них все больше появлялось воспитанников рабфаков. Росла партийная и комсомольская прослойка. В курс вводилось все больше общественно-политических предметов. Наконец, с 1927 года начались так называемые классовые приемы студентов. А еще немного позднее среди аспирантов появились приехавшие откуда-то дяди, окончившие провинциальные вузы, а то и вовсе ничего не кончавшие, но имевшие какие-то данные, на основании которых считалось желательным ввести их в науку. Эти парни полагали, что профессора и их приспешники (т. е. мы) знают какой-то секрет, имеют некий таинственный ключ от науки, который, блюдя свои классовые интересы, никак не хотят передать им. И они буквально так и заявляли начальству, жалуясь на саботирование профессурой пролетаризации науки, на сознательное предложение им плохих диссертационных тем и т. п. Замечу вскользь, что до 1927 г. мужская уборная в Музее была достаточно опрятна. С этого же года она приобрела все признаки скверного общественного сортира с его грязью, вонью и стенной живописью.

Но полное водворение новых порядков в университете произошло все-таки только году в 1930 или 1931. Не помню, когда достаточно либеральный и вполне приличный ректор В. П. Волгин был заменен Удальцовым. В этом не было ничего привычно академического. Просто какой-то тип с вострой бородкой и бегающими глазками. Читал он, кажется, историю социализма. Впрочем, он не столько читал, сколько управлял. Сталкиваться с ним мне не приходилось. Но скоро поползли слухи о всяких его художествах с секретаршами и машинистками. Пользуясь ректорской властью, он оттяпал себе какие-то апартаменты в одной из университетских квартир, оборудовал их казенными коврами и прочей мебелью и устроил себе уютный уголок для отдыха от трудов праведных. Университет же находился в явном запустении. Фасад старого здания на Моховой, как я его только помнил, стоял в вечных лесах. Но ремонт никак не подвигался. Суммы на все потребности, как хозяйственные, так и все другие, отпускались нищенские. Опять-таки не помню точно, когда в верхах было решено поднять университет и поправить его дела. Удальцов так же незаметно вылетел из ректоров, как стал им. Его место заступил столь прославившийся впоследствии А. Я. Вышинский, не оставивший при этом, кажется, своей должности начальника Главпрофобра, а возможно, что и какого-то высокого юридического поста. Фасад университета был быстро отремонтирован и покрашен. Двинулись в ход и кое-какие стройки. И во многом другом почувствовалось улучшение и порядок. Но порядок этот стал уже совершенно новым, чуждым духу науки, бюрократическим и казарменным.

Изменения в университетской жизни проводились не только в приказном порядке сверху. Шла обработка ученых и изнутри. Для профессоров и преподавателей были организованы занятия по марксистской философии. Сначала строго добровольные, а потом постепенно становившиеся все более и более обязательными. В начале 30-х годов была создана организация, полное название которой звучало, кажется, «Всесоюзная ассоциация работников науки и техники в помощь построению социализма». Сокращенно же она называлась ВАРНИТСО. Кроме коммунистов, в нее вошли наиболее «передовые» работники высшей школы и научных учреждений, более или менее примыкавшие к партии. В то время шли полным ходом чистки учреждений, начались вредительские процессы. Все более распространялись слухи о замене старых профессоров на их постах новыми. Да и не только профессоров. Честолюбивые молодые ученые вступали в ВАРНИТСО, надеясь на расширение возможностей своего дальнейшего продвижения. Многие же из тех, кого беспокоило их не совсем пролетарское происхождение, думали, что вступление в эту организацию поможет им сохранить свои места при очередной чистке. Широко вовлекать ученых в партию в то время было еще невозможно. Но подтолкнуть их на первый шаг к этому было легче. И этот расчет был правильным. — Почти все известные мне члены ВАРНИТСО, по крайней мере биологи, через какое-то время перекочевали в партию.

Если не ошибаюсь, решительные шаги по перестройке университета были произведены в 1930 году. Г. А. не утвердили заново в должности заведующего кафедрой и директора Музея. Ее занял Л. А. Зенкевич. Старшие ученики Г. А. не очень-то беспокоились о том, чтобы как-то его устроить. Об этом позаботился бывший тогда деканом геолого-географического факультета А. Ф. Мирчинк. Он предложил Г. А. читать курс зоологии для геологов, и это дало ему возможность удержаться в университете.

Ценность записок, подобных тем, какие я сейчас пишу, была бы полнее, если бы даты описываемых событий приводились с полной точностью. Но здесь, в Борке, я не имею возможности проверять их, а память сильно обманывает. Да я ведь и не задавался целью написать какой-то исторический очерк. Больше всего я хочу передать дух того университета, с которым я был связан. Потому что потом в нем не то что изменился этот дух, но сам теперешний университет не имеет ничего общего с тем. И хочу по возможности верно воссоздать портреты действовавших тогда людей. И в этой моей задаче, я думаю, мне не очень вредит, что я, называя те или иные даты, добавляю то и дело «кажется», «приблизительно», «насколько я помню» и т. п. И теперь, подходя к описанию последнего периода жизни Г. А., я не совсем точно помню чередование следовавших событий. Не помню, например, что произошло раньше — уход Г. А. с должности директора Музея или смерть его жены. Но и то, и другое — большие ступени его нисхождения.

Марья Александровна Кожевникова была человеком очень мало заметным. Не знаю, какова она была собой в молодости, но в то время, когда я ее знал, по внешности она была совсем невзрачна и нечего было даже искать в ее чертах «следов былой красоты». Происходила она из дворянской военной семьи. Окончила Высшие женские курсы и когда-то занималась зоологией. Даже что-то опубликовала (почему и не желала после брака расстаться со своей девичьей фамилией и именовалась Кожевникова-Российская). Разбирая после смерти Г. А. его архив, я нашел в нем также ее письма и кое-какие документы. Из них ясно выступал вполне типичный портрет курсистки конца прошлого столетия, горящей традиционными высокими идеалами своего времени и исповедующей культ Надсона. Как видно из писем того же архива, Г. А. был увлечен ею достаточно сильно и любовь их протекала со всем необходимым романтизмом. Также и из позднейшей их переписки можно было видеть, что они составляли вполне хорошую супружескую пару.

Чаще всего я видал М. А. по воскресеньям, когда Зоологический музей бывал открыт для публики. М. А. выполняла в нем роль, как бы теперь сказали, — экскурсовода, а больше, пожалуй, дежурного, так как посетителей бывало обычно немного и все больше одиночных. Экскурсии были редки и чаще имели своих руководителей. М. А. сидела за столиком у входной двери верхнего зала Музея и продавала билеты. Большую часть времени читала что-то. Но всегда бывала довольна, когда к ней кто-нибудь из посетителей обращался с просьбой что-либо объяснить, показать, где выставлено чучело интересующего его зверя или птицы и т. п. К посещавшим музей детям часто подходила и сама. Не знаю, получала ли она какую-нибудь плату за свои дежурства, но относилась к ним она с чрезвычайной добросовестностью.

Общей в характере с Г. А. у нее была редкая непосредственность. Неоднократно при посещении их дома я заставал супругов за каким-нибудь горячим спором. Оба они обращались ко мне (совершенному мальчишке) с просьбой рассудить их, не прекращая при этом спора, в ходе которого сыпались взаимные обвинения и фразы, как: «Маша, ты говоришь страшные глупости» или «Гриша, ты совсем сошел с ума», а в особо патетических ситуациях, вроде приведенной в инциденте с крысой, даже и такие слова, как дура или дурак.

У Кожевниковых было две дочери. Обе были замужем и жили со своими семьями. Был сын, Александр Григорьевич. Он жил на одной квартире с родителями. По образованию был юристом. Служил в каком-то учреждении юрисконсультом. Внешне напоминал Г. А., только не был толстый. Он казался мне человеком довольно мало интересным и, не знаю, прав я или нет, — как-то очень мало близким с родителями.

С бóльшим основанием членом семьи Г. А. можно было считать прислугу Ирину. Она была уже немолодая, некрасивая, сухощавая. На шее ее был шрам от пули Плавильщикова. При ней состоял в качестве мужа один из музейских служителей — Владимир Никулочкин. Он был значительно моложе Ирины. Эта личность заслуживает особого описания, и о нем я скажу позднее.

Так вот, насколько я помню, еще до увольнения Г. А. с должности заведующего Музеем или, быть может, вскоре после этого Марья Александровна умерла. Г. А. и прежде был связан с пчеловодными учреждениями. Как и все прикладное, эти учреждения сильно развивались. Пчеловодам-опытникам нужны были, я думаю, больше для солидности, консультанты с достаточно известным именем. Работников опытных пчеловодных учреждений все чаще можно было видеть в Музее, где, кроме Г. А., с ними имел дело также и В. В. Алпатов. Г. А. и сам работал в каком-то из этих учреждений по совместительству. Он принялся за изучение дикой индийской пчелы. Для помощи в этих работах он взял лаборантку, работавшую до того, кажется, на Тульской опытной пасеке. Звали ее Полина Яковлевна. Фамилию ее я забыл, а может быть, даже и не знал. На вид ей было лет около 30. Ходила она на высоких каблуках и какой-то такой странной походкой, что казалось, будто вот-вот она упадет. С лица была белая, впрочем, сильно пудрилась, и с розовым румянцем, тоже, возможно, искусственным. Прическу носила довольно мудреную, с локончиками и с замысловатым пучком, умещенным на макушке. Улыбалась как-то криво и при этом косила глазками, отчего ее улыбка принимала хитрое и недоверчивое выражение. Пахло от нее дешевыми духами и пудрой с примесью некоторого собственного духа, что в комбинации создавало запах, казавшийся мне настолько неприятным, что, почуяв его в телефонной будке, я, прежде чем начать разговор, раз с десяток сильными движениями отворял и затворял ее дверь для смены в ней воздуха. Голосок у Полины был тоненький, а так как, говоря, она кривила и поджимала губы, то речь ее звучала немного шепеляво и жеманно. Так как никакого сколько-нибудь длительного разговора с ней я не имел, то не могу ничего сказать о ее общем развитии и интеллигентности. Но, судя по всему, были они не очень высокие. С первого своего появления в Музее она всем сильно не понравилась. За ней установились прозвища «дура с коком» и другое, совсем непристойное.

По поводу ее взаимоотношений с Г. А., конечно, появились всякие сплетни. В нашем рукописном юмористическом журнале «Orbis Musei pictus»* была даже помещена на этот счет какая-то шутка. Г. А. узнал о ней и как-то жаловался мне, что мы сами подрываем престиж Музея, допуская такие шутки над его директором. «Что же вы думаете, что я с Полиной Яковлевной в своем кабинете...» (тут он употребил термин, принятый в зоологии, но мало применяемый для характеристики интимных отношений между людьми). Может быть, и правда, что в этом подозревать его не следовало. Но довольно скоро после смерти Марьи Александровны Г. А. женился на

* Мир Музея в картинках (*лат.*). Orbis pictus — обычное название книг для детского чтения, впервые употребленное в заглавии книги Я. А. Коменского «Видимый мир в картинках».

Полине. Сделал он это не потихоньку и не конфузясь, но напротив, — заявив о своей женитьбе громогласно.

Г. А. неоднократно говорил с некоторым порицанием, что его молодые ученики женятся как-то незаметно. Вдруг случайно и не из первых рук он узнает, что тот или другой женился. — «Все вы какие-то криптогамы». Не желая подражать своим ученикам, Г. А. сообщил окружающим, что он женился на Полине. И прежде всего — начальству, т. е. деканше А. М. Быховской. Она приветствовала такое его поведение и поздравила его.

Менее благожелательно отнеслись к повторной женитьбе Г. А. его дети. Особенно дочери, объявившие Г. А., что они не желают иметь дело с его новой супругой и не станут посещать отца на его квартире. Сам же Г. А., по крайней мере, по видимости, был доволен. Я уже говорил о его непосредственности. Принимая по-прежнему нас по всяким делам у себя на квартире, он не заботился о том, чтобы прибрать куда-нибудь с видного места коробки или склянки с препаратами, предназначенными для усиления его мужской доблести.

Начались тридцатые годы. Коллективизация, вредительские и другие политические процессы, аресты, вывозы в ГПУ, продовольственные трудности, распределители, карточки. Пришло время решительных реформ в университете. Вместе с распадом после смерти М. А. установившегося семейного быта, а возможно, что и с непосильными трудностями выполнения супружеских обязанностей в отношении молодой жены, все это мощно тащило Г. А. к упадку. Это отразилось прежде всего на его внешности. Он сильно похудел. Своему туалету он никогда не уделял особого внимания. Но теперь в нем появились явные признаки неряшества. На разных частях одежды то и дело отсутствовали пуговицы. Башмаки почти всегда были не чищены и сильно стоптаны. Полина, очевидно, никак не присматривала за мужем. Не помню точно, осталась ли верная Ирина при исполнении своих обязанностей. Скорей всего — нет. Не думаю, чтобы она могла ужиться с новой хозяйкой дома. Кроме того, ее самое постиг удар. Тишайший ее Владимир, поднявшись по общественной лестнице, вступивший в партию и занявший большой пост в месткоме, перестал быть тишайшим. Он завел себе молоденькую бабенку, а у Ирины оттягал комнату. Г. А. сам ходил по распределителям за харчами, носил из лавки для примуса керосин, от которого на его пальто появились большие пятна. Обедал в скверной университетской столовке, выстаивая в ней очереди. В то время еще строго соблюдалась демократия. Никаких привилегий перед студентами и служителями профессора не имели. Да и к этой-то столовке нужно еще было не без хлопот «прикрепляться». У меня эти прикрепления к столовым и распределителям, а главное — царившее в них хамство, вызывали такое отвращение, что я полностью отказывался от предоставляемых ими благ, расплачиваясь за это выполнением всяких работ помимо службы в университете. Но Г. А. и, как это ни странно, также многие другие профессора и преподаватели

покорно стояли в очередях и поедали на грязных столах омерзительную снедь, которую им совали под нос охамелые подавальщицы.

Нужно сказать, что все эти невзгоды, и бытовые, и в университетских делах, Г. А. переносил удивительно стойко. Он ни на что не жаловался и ничем не возмущался. Если и подсмеивался над некоторыми творившимися нелепостями, то никогда не шипел. Вообще же в его натуре была глубоко заложена лояльность. В первые годы после революции он не спешил ее проявлять, считая, вероятно, как и большинство интеллигентов, что новый строй непрочен. К строю этому первоначально он отнесся резко отрицательно. Решил для себя просто не признавать советскую власть. Но время шло. И было очень трудно совмещать такое непризнание со службой в государственном учреждении и с получением от государства средств на существование. Г. А. не один был в таком положении. Интеллигенты, не признававшие советскую власть, но получавшие от нее свою зарплату, всякими способами пытались успокоить свою совесть. Профессора, например, внушали себе и другим, что они, мол, служат не большевикам, а науке. А наука-де, она, конечно, не большевистская. Пребыванию в таком успокоенном состоянии способствовало то, что наука и в самом деле довольно долгое время была относительно автономна и что настоящие советские порядки проникали в высшую школу очень постепенно. Таким образом, можно было найти некоторый компромисс между непризнанием советской власти и жизнью на советские деньги. На этом компромиссном пути можно было занимать позиции, очень различные в обе стороны, т. е. непризнание могло быть большим или меньшим. В крайних проявлениях оно принимало черты прямо-таки героические. Например, в Ленинграде бывший академик, бывший директор Зоологического музея Академии наук и бывший директор частного банка Ф. Д. Плеске отказался от пользования чем бы то ни было государственным. Он не получал карточек, не покупал ничего в «их» магазинах, не ездил на «их» трамваях. Сокрушался только тем, что не мог отказаться от покупки в «их» аптеках свечей от геморроя, которым он страдал. Г. А. до такого героизма не доходил. Он только после прекращения выхода старых газет заявил, что «их» газет он читать не будет. И не читал первые годы. Как-то году в 1922 или 23 он, увидавши у меня на столе «Известия», попросил разрешения взять эту газету, если я ее прочитал. При этом пояснил, что он ведь, собственно, дал зарок *не покупать* советских газет, а *читать*-де их ему можно. Не знаю, давно ли он придумал этот выход из своего затруднительного положения. Еще некоторое время после этого случая он забирал у меня по вечерам прочитанные газеты. А потом, конечно, стал и сам покупать их или выписывать.

В середине двадцатых годов университетские ученые были еще вполне невинны в отношении знакомства с так называемой марксистской философией. Но слышали о ней все чаще и чаще. Году, примерно, в 1924 или 25 Г. А. во время одного из своих ночных визитов спросил у меня, могу ли я коротко ему объяснить основную сущность

диалектики. Я попытался, насколько мог понятно и кратко, рассказать ему о примате материи, о взаимном проникновении противоположностей, об отрицании отрицания, о переходе количества в качество и т. п. Он слушал очень внимательно. Потом сказал: «Нет, вы говорите что-то очень странное. Я спрошу у Челпанова». И ушел. Профессор нашего университета Челпанов был автором широко известных руководств по философии, психологии и логике, изданных в дореволюционные годы. Не помню, долго ли он продержался в университете после революции, так как его фамилия в соответствующих кругах никогда не произносилась без характеристики «идеалист», «реакционный» или «буржуазный философ» и т. п. Можно представить, какие основы диалектического материализма он преподал Г. А.

Но время шло вперед, и Г. А. поддавался его воздействию. Года через три или четыре после описанного разговора он изложил мне результаты своих новых серьезных размышлений. Они привели его к выводу, что государство вправе требовать от лиц, состоящих на государственной службе, чтобы они усвоили его идеологию. «Поэтому я решил изучить диалектический материализм и сдать по нему экзамен».

Эта задача была облегчена для Г. А. тем, что к тому времени для преподавателей университета были организованы кружки или семинары по изучению марксистской философии. Действовал такой семинар и на биологическом факультете. Вел его довольно типичный общественно-политический меламед по фамилии Закгейм, имевший достаточно хорошо подвешенный язык, но несравненно худшее русское произношение.

С марксистской премудростью я еще в студенческие годы ознакомился из собственного интереса и без всякого принуждения. Она, как и вообще всякая философия, очень мало интересовала естественников. Читая сочинения сначала Плеханова и Богданова, а затем Маркса (очень немного), Энгельса и Ленина, я и не подозревал, что это может мне потом принести какую-то пользу. А польза оказалась огромной. — На фоне полной неосведомленности всех моих коллег в этой довольно простой материи я прослыл ее знатоком. Это не могло остаться неизвестным партийному начальству, кстати, и самому-то очень слабо знакомому со всякой теорией. Поэтому, когда принялись учить марксистскому уму-разуму научных недорослей, никому и в голову не приходило опекать меня с этой стороны. Интересно, что репутация человека, хорошо осведомленного в политических и философских вопросах, сохранилась за мной и после того, как я расстался с университетом. Так я никогда в жизни и не высиживал ни на каких философских или политических семинарах, кружках и т. п. и не сдавал соответствующих экзаменов. Не ходил и на семинар Закгейма. Он сам считал это само собой разумеющимся и держался со мной на вполне товарищеской ноге.

Влекомый духом лояльности, Г. А., включился в занятия Закгеймова семинара и сразу же пришел в полный восторг. Он вдруг точно прозрел. Как большинство ученых

его поколения, он имел самое слабое представление о философии. Вероятно, когда-то прочитал Конта, а скорее о Конте. Дарвинизм и все направление естествознания конца прошлого и начала нашего века способствовали укреплению примитивного позитивизма, который и выполнял благополучно функцию единственной философии ученых или, во всяком случае, биологов. По сравнению с этим крайним убожеством диалектический материализм представился им настоящим откровением. Непосредственный Г. А. после первого же занятия вбежал ко мне сильно взволнованный. Он восхищался Закгеймом. — Какой умный и образованный человек! Занятие было посвящено вопросу о партийности науки. Г. А. всю жизнь считал науку беспартийной или даже надпартийной. А теперь только он понял, что она партийна и не может быть другой. На мой вопрос, почему это так, он ответил, что в буржуазных странах наука служит капитализму, а у нас — социализму. Я его спросил тогда, как, по его мнению, партийна ли вода. — «Ну как вода может быть партийной?» — «Но ведь у нас она приводит в движение социалистические турбины, а там — капиталистические». Г. А. был низведен этим вопросом с облаков на землю. Он посмотрел на меня из-подо лба и сказал: «Нет, вы говорите что-то странное. Я спрошу у Закгейма».

Он продолжал прилежно посещать кружок и просвещаться в диалектике. Не знаю точно, сдал ли он экзамен. Кажется, да.

Несмотря на то, что Г. А. не только сохранял бодрость духа, но точно даже все больше находил свое место в советской системе, заседая в разных комиссиях, разрабатывавших всевозможные проекты реорганизации науки, педагогики, пчеловодства, охраны природы и т. п., к которым относился с полной серьезностью и добросовестностью, — он все больше производил впечатление человека, выбитого из колеи. Особенно это было заметно по его внешности, отражавшей отсутствие домашней заботы о нем. Все заметнее становился прогресс старения. Его ученики мало обращали внимания на него. Они сами искали способов приноровиться к быстро менявшимся порядкам. Некоторые даже на пути к достижению своих собственных целей не церемонились потеснить старика. Как-то никому не приходило в голову, что конец его может быть уже близок. Не думал об этом и я.

После мне стало понятно, что я тоже не проявил заботы о Г. А. в момент, когда она ему была явно нужна. Наши с ним отношения продолжали оставаться хорошими. Но как-то незаметно мы с ним точно поменялись ролями. Если прежде он иногда устраивал по некоторым поводам головомойки мне, то постепенно стал поучать его я. И при этом иногда в довольно резких выражениях. Верно, он меня бранил в свое время за кипячение чайников без горелки и за невежественные суждения. Я же выговаривал ему его законопослушность и податливость на официальную пропаганду. Когда он восторженно рассказывал мне о каком-нибудь новом мероприятии академических или других властей, или сообщал о своем намерении принять участие в явно дурно пахнущем начинании, то мои реплики обычно начина-

лись словами: «Г. А., как вам, почтенному и заслуженному человеку, не стыдно...» Г. А., выслушивая мои отповеди, не обижался на них. Иногда спорил, а чаще усмехался, считая, что я просто щеголяю парадоксами. Нередко он передавал содержание своих разговоров со мной кому-нибудь из тех, с кем у него сохранились более близкие отношения, чаще всего Огневу, Житкову или Алпатову. Он преподносил им мои высказывания в виде анекдотов: «А вот Кузин говорит...» Очень вероятно, что он передавал мои мнения и не только этим лицам. Тогда он оказывал мне плохую услугу. Но я в то время был крайне легкомыслен, за что, вероятно, и поплатился потом.

Однажды я, как всегда, около 5 часов вечера, пришел в Музей на вечернюю работу (я тогда уже не ночевал в Музее). Меня встретила перепуганная Марфа и сказала, чтобы я шел к Г. А. на квартиру, что с ним плохо. Я бросился туда. Там меня встретил сын Г. А. В комнате был беспорядок, пахло лекарствами. Сновала Полина с припухшим носом. Какие-то медицинские люди. Из-за ширмы, где стояла кровать Г. А., доносился ужасный хрип. Алекс. Григ. сказал, что у Г. А. удар (вероятно, теперь сказали бы инсульт) и что он безнадежен. Делать было нечего. Я ушел к себе. Заниматься, конечно, не мог, но и домой идти было нельзя. Просидел за какой-то механической работой до глубокой ночи. Перед уходом домой зашел опять на квартиру Г. А. Агония продолжалась. Рано утром пришел в Музей и узнал, что ночью Г. А. помер.

Я никак не думал, что мое дальнейшее участие в этом событии выразится в чем-нибудь, кроме присутствия на посмертных церемониях и на похоронах. На деле оказалось иначе. — Г. А., относившийся достаточно хорошо к своим ученикам, ни с одним из них не входил в более близкие отношения. Поэтому и получилось, что никто не считал себя обязанным принимать деятельное участие в делах, возникших в связи с его смертью. Вероятно, каждый полагал, что это целиком дело его домашних. А там, дома, не было никакого согласия. Дочери, конечно, приехали, но Полину они по-прежнему не признавали. С братом же, кажется, они никогда особенно не ладили. Поэтому никто не мог ничем распорядиться. Заметивши это, я понял, что нужно во все эти печальные события как-то вмешаться. Все же, пожалуй, наиболее близкие отношения у Г. А. были со мной. По натуре своей я никак не организатор и не командир. Между тем, сколько раз в жизни (особенно позднее) обстановка складывалась так, что мне ничего не оставалось делать, кроме как впрягаться в организационные дела и распоряжаться. (Кстати, ведь именно так я и принял на себя обязанности, которые выполняю на теперешней своей работе.) Перессорившиеся родственники, конечно, не возражали против того, чтобы кто-то действовал за них.

Помимо обычных хлопотливых похоронных дел было одно, особенно трудное и неприятное. — Анатом Б. К. Гиндце, с которым Г. А. дружил, изучал сеть кровеносных сосудов головного мозга. Он изобрел способ извлекать всю эту сеть из мозга в целом виде, вплоть до мельчайших веточек. Ему удалось установить, что от развития сети и от кровоснабжения отдельных участков мозга зависит общее умственное развитие человека и сила тех или иных его способностей. Г. А. в свое время эти работы очень заинтересовали, и он договорился с Гиндце, что тот после его смерти исследует сосуды его мозга. Это он и записал в своем завещании. Теперь было нужно, чтобы Гиндце извлек его мозг. Но оказалось, что его не было в Москве. Следовало договориться, чтобы вскрытие черепа и извлечение мозга произвел кто-либо другой из анатомов. Согласился сделать это Дёшин. Но пока я об этом хлопотал, пришел день похорон. Гражданская панихида перед выносом тела была назначена на 12 часов. До этого нужно было произвести всю операцию.

Я совершенно не переношу зрелища ран и анатомических манипуляций. Несмотря на интерес к анатомии человека, я в свое время отказался от прохождения полного практического курса по этому предмету, воспользовавшись тем, что зоологам разрешалось (при условии получения по теоретическому курсу анатомии отметки не выше тройки) сдавать практический зачет только по скелету. Но присутствовать при вскрытии черепа Г. А. было некому. Как-то, точно случайно, никого из его учеников не оказалось в Музее. Мне ничего не оставалось, как пойти в большую аудиторию, где на кафедре лежало тело Г. А., и выстоять всю сцену этой операции. Раза два мне едва удавалось побороть чувство дурноты. Кости черепа Г. А. оказались удивительно толстыми. Поэтому на вскрытие ушло больше времени, чем уходит обычно. Стало понятно, почему выстрелы Плавильщикова не имели эффекта. Наконец мозг был извлечен и помещен в большую банку с фиксатором. Отпиленную крышку поставили на место и натянули на нее кожу. Пришли какие-то люди приводить труп в порядок и укладывать его в гробу.

Я почему-то совсем не помню ни гражданской панихиды, ни похорон. Не помню даже, на каком кладбище похоронили Г. А.

Здесь уместно упомянуть об одном обстоятельстве. Незадолго до смерти Г. А. ГПУ, последовательно перебиравшее специалистов разных областей, добралось до пчеловодов. Их стали усиленно сажать. Оказалось, накануне дня смерти Г. А. пригласили на Лубянку и там с ним беседовали. Кстати, в нашей литературе такие беседы еще не описаны. Поэтому читателю этих записок, не имевшему личного опыта общения с этой организацией в те годы, причинная связь между вызовом Г. А. в ГПУ и его смертью не будет сама собой понятна. Но я-то, узнавши об этой подробности, сразу понял, что к чему.

После смерти Г. А. остались большой его архив и библиотека. Наше начальство согласилось приобрести библиотеку для университета, но при условии, чтобы из архива было разрешено взять то, что может иметь научный или научно-исторический интерес. Родственники продолжали ссориться между собой из-за оставшегося имущества Г. А.

С общего их все же согласия А. Г. Кожевников обратился ко мне с просьбой взять на себя роль душеприказчика Г. А., а главное — помочь разобраться в его бумагах. Не помню, как удалось примирить их всех в отношении оставшихся вещей. К счастию, дочери и сын не претендовали на ценные вещи домашнего обихода. Их больше интересовало получение кое-каких семейных реликвий. Архив же весь полностью поступил ко мне.

Если бы родственники Г. А. не стремились как можно скорей разъехаться, они, конечно, изъяли бы из архива документы чисто личного или семейного характера и я не имел бы возможности с ними ознакомиться. Но от того, что я эту возможность получил, история и наука ничего не выиграли. В то время ни в какой архив эти документы сдать было нельзя. Они, хотя и разобранные, лежали у меня в лаборатории (в библиотеке Музея). После моего ареста их или забрало ГПУ, или же они просто были выброшены на свалку.

Между тем для меня ознакомление с этими материалами было чрезвычайно интересно. Ведь вообще не может не быть интересным изучение подлинных документов, относящихся к прошлому, хотя бы и совсем недалекому. Но переписка Г. А., а особенно дневники, которые он аккуратно вел со старших классов гимназии почти до своего профессорства, дали мне очень много для оценки человека, с которым был связан большой и важный период моей жизни. Даже из того, что удержалось в моей памяти, на основе этих документов можно было бы составить целую новую главу этих записок. Но я не хочу этого делать. В своих дневниках Г. А. был совершенно откровенен. И хотя в них сообщалось о разных его падениях и грехах, все же ничто из того, что я из них узнал, не омрачило в моих глазах его образ. Главной чертой Г. А. во все периоды его жизни было, по-видимому, очень развитое чувство долга. Но он любил жизнь и был снисходителен и к себе, и к другим.

Пояснение

Написавши начало этих записок и разделы о И. С. Сергееве и Г. А. Кожевникове, я заметил, что в написанном очень явно проглядывает моя симпатия к прошлому и, мягко говоря, менее теплое отношение к тому, что заменило и продолжает заменять это прошлое. А ведь в самом начале я заявил, что не хочу идеализировать «старые времена». И я вижу, что нужно на этот счет объясниться. Почему в середине записок? — Потому что конца им я не предвижу, оборваться они могут в любой момент, а написать это объяснение в их начале я не догадался.

Откуда берется сожаление о прошлом, и так ли уж оно необоснованно? Очень немногим дана способность объективной оценки людей и событий. Огромнейшая

часть людей судит обо всем только применительно к себе, да и к себе-то не вообще, а только в данный момент. Вспоминая прошлое, люди обычно думают не о том, каково оно было само по себе, а припоминают, как им самим тогда жилось. Многие при этом видят и положительные стороны произошедших изменений, особенно, если с течением времени улучшилось их материальное и всякое другое положение. Но если эти люди что-то и приобрели с возрастом, то это не стоит ни в какой пропорции с тем, что все они утратили. А утратили они молодость и все то, что дает человеку только она. И эта потеря страшно снижает балл оценки настоящего. Но ведь далеко не все живут к старости в большем достатке и почете, чем они жили в молодости. Этим-то уж настоящее время кажется во всех отношениях хуже минувшего.

Я все же думаю, что у меня хватает трезвости, чтобы при оценке времени моей молодости не подкрашивать его натуральные цвета колерами своего тогдашнего самочувствия. Поэтому мне кажется, что я могу более или менее справедливо сопоставить его плюсы и минусы против теперешнего. И окончательный баланс получается у меня не такой уж плохой. — Тогда был в городах чище воздух. Не была так истреблена природа. Не было шума от моторов и от радио. Религия и бытовые традиции сообщали большую надежность отношениям между людьми. Вся жизнь была более проникнута поэзией. Но одновременно в наследство от конца прошлого века началу настоящего досталась ужасная общая безвкусица: — в архитектуре, в мебели, в одежде. Очень жалки были всеобщие вкусы в литературе, в живописи и графике, в музыке. Бескрылый позитивизм царил в науке и крайняя наивность во всем, что касалось политики. Главные преимущества теперешней жизни проистекают от технического прогресса во всех областях. Жизненные удобства, полученные нами в результате этого прогресса, настолько велики, что вряд ли многие отказались бы от них взамен на возвращение им чистого воздуха и менее нервозной жизни. Следовательно, можно считать, что ценой утраты одних благ мы приобрели другие. А точно вычислить стоимость потерь и приобретений едва ли возможно.

Из сравнения прошлого с настоящим, разумеется, нужно исключить то специфическое, что принесла с собой наша революция. Мир все-таки един, и надо говорить о нашем времени в целом, на всей планете. Нужно быть слепым, чтобы не видеть за особенностями жизни каждой страны того важнейшего общего, что составляет самую сущность нашей эпохи, а главное — единой общей тенденции развития культуры, быта, нравов, техники, науки, искусства, теперь уже общих — земных.

Может ли нас утешать этот ход истории (при допущении, конечно, что он не будет пресечен атомной или какой-либо иной общеземной катастрофой)? — Ответ на этот вопрос целиком зависит от индивидуальных вкусов того, к кому он обращен. Дело в том, что личная свобода не каждому представляется самым большим благом. Боязнь свободы чрезвычайно свойственна людям и коренится в них очень глубоко.

Чем посредственнее человек, тем страшнее ему свобода. Он никак не сознает этого. Даже напротив: — именно посредственный человек особенно склонен нарушать действующие законы и правила общежития, и эту свою склонность он принимает за любовь к свободе. Но неспособность к дисциплине не имеет с ней ничего общего. Предоставьте такому нарушителю личную свободу в настоящем ее смысле, т. е. сделайте его полностью ответственным за свою судьбу, — и он почувствует себя потерянным. Человек — животное стадное, и потребность быть управляемым у огромного большинства людей неискоренима, а бремя свободы им несносно. Но какой-то доли свободы хочет для себя каждый. Только одни большей, а другие меньшей. И чем больше человек способен сам за себя думать, решать и отвечать, тем большая у него потребность в личной свободе.

Между тем, совершенно очевидно, что по мере развития общества свобода отдельных его членов уменьшается. С неизбежностью повышается роль государства, а главное — его сила. Государство на всех стадиях его развития противополагается личности. И тем сильнее, чем оно более развито и мощно. При этом не играет особой роли форма государственного строя — феодальная, капиталистическая или социалистическая. Существенно лишь одно: — насколько сильно государство и мощен его аппарат принуждения. Можно даже, пожалуй, отметить обратную зависимость между степенью так называемой демократичности государственного устройства и личной свободой граждан. А люди не только мечтают о свободе, но также делают попытки обеспечить ее себе. В частности, свободу в отношении государства. Во все времена права граждан перед ним оговаривались законами. И они соблюдались обеими сторонами... До тех пор, пока стороны были вынуждены их соблюдать.

Не знаю, известна ли юристам настоящая цена права. Серьезно ли они говорят о правовых нормах или выдумали их только для успокоения народа? А народ свято верит в право и в законы. Кому из нас не приходилось слышать негодующий возглас: — «Но ведь я имею на это право!» Если так восклицает мой хороший знакомый, то я пытаюсь образумить его и объясняю, что права имеют только шоферы. Не будучи юристом, я не знаю, как определяется понятие права. Но мне кажется, что единственное правильное определение его следующее. — Право есть система договорных отношений между двумя равно сильными сторонами. Фактически на свете существует только одно право: — право сильного. Если этот сильный сталкивается с кем-то одинаково сильным, т. е. с тем, кому он не может перегрызть горло, но который, в свою очередь, не может перегрызть горло ему, то они договариваются о формах сосуществования, идя каждый на некоторые уступки. Связывающие их условия партнеры честно соблюдают. Честно потому, что нечестность была бы каждому из них невыгодна или опасна. Но оба они на минуту не спускают друг с друга глаз и зорко смотрят, не появляются ли у партнера признаки уменьшения его силы. Если таковые обнаруживаются, то условия заключенного договора тотчас изменяются в пользу сильнейшего, а если это только возможно, то договор этот просто летит к черту и мечта о перегрызании горла осуществляется. Таковы правовые отношения между отдельными людьми, между торговыми фирмами, между государствами и между отдельным государством и его гражданами.

Всякое насилие с чисто моральной точки зрения — зло. В моральном отношении человек, применяющий насилие, хуже того, который к нему не прибегает. Но всякое преобладание, всякая власть достигается, в конечном счете, путем насилия. Поэтому неизбежно получается, что в любом обществе власть оказывается в руках людей, далеко не лучших по своим моральным качествам. И эти люди используют свою власть в меру имеющихся у них возможностей. Возможности же эти возрастают по мере прогресса техники преимущественно перед всеми другими. Главарь пещерной орды осуществлял свое господство над ее членами лишь благодаря своей большей агрессивности и более развитым мускулам. Техническими средствами поддержания своего авторитета ему служили камень и палка, имевшиеся, впрочем, также в распоряжении всех его подопечных. Каждый из этих последних, в случае, если ему уж очень солоно приходилась власть главаря, имел возможность выйти из сферы ее действия, откочевав за какие-нибудь двадцать-тридцать верст от родимой пещеры. Стоит только сравнить эти скромные средства осуществления власти пещерным вождем с полицейским аппаратом современного государства, оснащенным всеми последними достижениями новейшей техники, чтобы наглядно представить себе, насколько возросли возможности принуждения, а одновременно сократилась наша личная свобода против пещерных времен. При этом уйти от принуждения, даже ценой полного отказа от всех благ, компенсирующих в современном обществе лишение личной свободы, стало практически невозможно.

Нужно думать, что уже самый первый племенной вожак, размозживший голову своему более слабому товарищу из-за более жирного куска пищи или ради обладания приглянувшейся ему женщиной, мотивировал свой поступок соображениями общего (племенного) блага. И в какой-то мере он был в этом прав. — Он был организатором порядка, необходимого для коллективных действий при охотах на крупного зверя и при отражении нападений соседних орд, т. е. играл в своем обществе более ответственную роль, чем прочие мужчины. А раз так, то он должен был иметь и определенные преимущества перед ними. Но, конечно, свою организаторскую функцию он выполнял не из альтруистических соображений, а именно ради преимущественного пользования общественными благами и из свойственного ему стремления распоряжаться и главенствовать. Однако об этих мотивах он предпочитал молчать.

Сущность власти с тех давних времен нисколько не изменилась. Она продолжает во всех случаях оставаться насилием. Она не без основания мотивируется соображениями общественного блага. И ее осуществляют люди сильные, корыстные и агрессивные. Но формы насилия стали не так прямолинейны, как удар дубиной по голове. Мотивировка его необходимости значительно подкрепилась предписаниями

религии и социальными теориями, а применение стало регламентироваться законами. Эти законы время от времени изменяются в зависимости от соотношения сил между договаривающимися сторонами, т. е. между управляющими и управляемыми. Но в промежутках между этими изменениями их с полной серьезностью называют незыблемыми.

Но даже если законопослушные управляемые вполне убеждены в необходимости и святости проявляемого над ними насилия, все же мечта о свободе остается у них где-то в глубине. Слишком уж она свойственна всему живому. А чем беспочвеннее мечты, тем охотнее люди питаются иллюзиями.

Одна из таких иллюзий — возможность воцарения справедливой власти, которая, если и будет стеснять личную свободу граждан, то лишь в той мере, в какой это безусловно необходимо для блага общества, не добавляя в это дело никакого дополнительного своекорыстного старания. Мечта о такой власти отражена в эпосе всех народов мира, где мы находим повествования о добрых и справедливых царях и правителях. Не находя таких в современности, народ утешается хотя бы тем, что они были в прошлом. А это дает надежду, что они появятся и в будущем, может быть, даже завтра. И с этой надеждой жить становится легче.

Но о такой власти не только мечтают. — Ее пытаются и установить. Главная забота при этом проявляется о том, чтобы найти принципы, в соответствии с которыми она будет действовать. А в хороших принципах недостатка нет. Чем, например, плоха идея наследственной монархии? — Государь заботится о своих подданных, как добрый отец о детях. А отвечает он за свою деятельность перед наивысшей мыслимой инстанцией: перед Богом. А власть ему дается не людьми, которые, конечно, могут ошибиться и отдать ее в ненадлежащие руки, а также самим Богом. Идея буржуазной республики сама по себе тоже совсем неплохая. Принцип свободного предпринимательства и конкуренции обеспечивает продвижение на руководящие посты в государстве наиболее способных людей. В таком государстве власть не может оказаться в руках дегенерата, получившего ее только на том основании, что он произошел от коронованных родителей. Распределение благ в буржуазном государстве в принципе тоже вполне справедливо, ибо ведь ни в какой конституции не установлено право извлекать сверхприбыли от производства, не запрещено плохо одетым людям появляться в обществе хорошо одетых и не сказано, что бедняки обязаны помирать голодной смертью. Столь же или даже еще более очевидны и неоспоримы достоинства социалистического строя. И уж разве только малый ребенок не поймет, как прекрасен коммунизм. А чем, собственно, плоха анархия?

Таким образом, разработать принцип справедливого государственного устройства относительно нетрудно. Ввести его в действие взамен предшествовавшего уже немного труднее. Но все же это задача выполнимая. Революции, к почти всеобщему удовольствию, происходят и нередко завершаются успехом. Не достигнуто пока еще

ни в каком обществе лишь одно. — Нет земного рая, который, казалось бы, должен установиться в государстве, основанном на одном из приведенных принципов. Из этих принципов пока еще не осуществлены лишь коммунистический (но в соответствии с решениями XXII съезда КПСС, он уже теперь скоро будет осуществлен) и анархический. Мы можем терпеливо ждать результатов построения общества на их основе. Можем придумать еще какой-нибудь новый принцип на случай, если и эти два не принесут людям благоденствия и свободы. Но можем и посмотреть, нет ли чего-нибудь общего в государствах, основанных на уже осуществленных принципах, и, если найдем такое общее, то подумать, не заключается ли именно в нем корень зла. Одну такую общую черту я уже назвал. — При всех формах государственного устройства господствующее положение в обществе занимают люди сильные, корыстные и агрессивные. Но это не все. Нельзя всю ответственность за жизнь общества возлагать на тех, кто им руководит. Разве меньшее значение имеют те, кем руководят? А руководимые представляют вторую инварианту всех до сих пор существовавших общественных формаций.

Меня всегда удивляло, какое слабое представление имеют даже совсем неглупые люди о качествах среднего человека. Они в глазах почти всех чрезвычайно завышены. Это относится прежде всего к оценке средних умственных способностей. Великие умы, как и все великое, конечно, встречаются крайне редко. И если я говорю о низком среднем умственном уровне людей, то я имею в виду никак не то, что среди них низок процент великих умов. Но, казалось бы, можно ожидать, что подавляющая масса людей должна обладать самыми простыми способностями здравого суждения. Что же считать критерием такого суждения? — Здраво рассуждающий человек, несомненно, должен не грешить против правил силлогистического мышления, не совершать ошибок суждения, перечисленных в элементарных учебниках логики. И вот я на основании уже большого жизненного опыта могу утверждать, что даже в кругу, в котором я преимущественно вращаюсь, т. е. среди ученых, при обсуждении любого вопроса обычны бывают неправильные построения силлогизмов, выводы, не вытекающие из предпосылок, и все элементарные ошибки суждения, из которых, пожалуй, самые частые — прегрешения против закона достаточного основания. Не говорю уже об ужасающей неспособности точно определять понятия, о которых идет разговор. И это у людей, для которых логика по роду их профессии должна считаться необходимым рабочим орудием. И это в тех случаях, когда ни о каком аффекте не может быть и речи, а самое большее — если возбужден некоторый полемический задор. Таким образом, оказывается, что средние умственные способности лежат на оценочной шкале далеко не доходя отметки «правильное логическое мышление». По-настоящему средний человек, т. е. относящийся к категории, охватывающей 80, а то и больше процентов населения нашей планеты, мыслит очень и очень слабо. Если его нельзя назвать кретином, то только потому,

что обычно он обладает некоторой суммой твердо усвоенных навыков, относящихся к сфере его повседневной практической деятельности, и некоторыми столь же твердо усвоенными понятиями, пригодными для ориентировки в наиболее часто встречающихся жизненных ситуациях. Эти-то навыки и понятия составляют его «ум». А совсем не способность анализировать факты и делать правильные выводы из произведенных наблюдений.

Сильно неумный средний человек к тому же еще не очень высок и в моральном отношении. Он жесток и нечестен. Настоящие садисты, верно, встречаются нечасто. Но людей равнодушных к страданиям ближнего имеется очень много. По отношению же к животным жестоко подавляющее большинство людей. Чаще других видов любви к ближнему встречается любовь к детям. Но корни ее глубоко заложены в инстинкте продолжения рода.

В отношении честности и общего уровня морали люди вполне отчетливо разделяются на три категории. — Есть люди абсолютно непорядочные и недоброжелательные. Они вредят окружающим морально, физически и материально из глубокой внутренней потребности, иногда даже во вред себе. Но таких выродков очень немного. Это единицы. И столь же, вероятно, мало людей абсолютно порядочных, таких, которые не совершают нечестных поступков и не приносят ближним вреда по той единственной причине, что это противно их природе. Противно настолько, что веления совести они не могут переступить ни под каким страхом. Если абсолютных негодяев можно назвать гениями зла, то люди, со всей строгостью подчиняющиеся «категорическому императиву», это — гении добра. Как всякие другие гении, они появляются единицами на миллионы. Все же остальные люди в отношении морали входят в огромную категорию, промежуточную между этими двумя, — категорию относительной порядочности, т. е. такой, какая не допускает совершения аморальных поступков без надобности, так сказать, из принципа. Наиболее положительные представители этой категории способны совершить очень мелкую гадость ради очень большой выгоды. Наиболее отрицательные поступают наоборот: ради мельчайшей выгоды они могут сделать очень большую гадость. Между теми и другими имеются все мыслимые градации. Вероятно, как и все другие признаки человека, степень порядочности в пределах этой категории распределяется по нормальной кривой. Но совершенно несомненно, что медия этой кривой расположена много ближе к левому ее флангу, чем к правому. И опять-таки огромное большинство людей считает средний моральный уровень гораздо более высоким, чем он есть на самом деле. Очень часто я слышу по чьему-нибудь адресу восклицание: «Ах, какой негодяй!» Почти всегда мне приходится за этого человека заступаться и доказывать, что он совсем не негодяй, если его отнести к средней норме морали. Ведь нельзя же давать такую низкую характеристику среднему человеку... Но если говорить начистоту, то этот средний — самый настоящий негодяй.

И вот, если бы даже во главе общества стоял умный и высокоморальный человек, то, спрашивается, как мог бы он насаждать мудрые и справедливые порядки среди массы, состоящей в подавляющем большинстве из неумных, нечестных, корыстных и жестоких индивидов? Всякое доброе начинание, проводимое сверху, натыкается на глупость бесчисленных глупцов, а еще больше — на нечестность и своекорыстие еще более бесчисленных негодяев.

Нужно думать, я далеко не первый заметил, что путь к земному раю преграждают человеческая глупость и невысокие моральные качества. Но люди нелегко мирятся с горькими истинами и ищут выходов из любого неприятного положения. Выходы же эти чаще всего бывают иллюзорными. Величайшей такой иллюзией, действующей с очень давних времен вплоть до наших дней, явилось представление об исключительной роли жизненных условий в формировании всех способностей человека. Средство борьбы с глупостью многие видели, да и теперь видят, в распространении просвещения и образования. Но глупость и невежество — совсем разные вещи. Образование увеличивает сумму знаний человека, но никак не силу его ума. Источник же людских пороков видят в недостатках воспитания и во вредном влиянии нездоровой общественной среды.

Если у Колумба оспаривают заслугу открытия Америки, то другая заслуга признается за ним бесспорно. Он пустил в ход басню об идеальном, не испорченном культурой дикаре. Этот дикарь послужил отправным пунктом для последующих призывов об обращении к матери-природе, о воспитании детей в соответствии с ее законами и для создания представления о детской душе как о tabula rasa*, на которой рука мудрого воспитателя может выводить какие угодно узоры. Эти взгляды были особенно распространены в эпоху просвещения. Но они пришлись по вкусу и творцам «научного» социализма, а от них перешли и к их последователям, создавшим наше государство и благополучно управляющим им до наших дней. Теория первоначального равенства способностей всех нарождающихся детей и вера во всемогущество воспитания были совершенно необходимы для обоснования возможности создания земного рая. — В самом деле, как можно сделать рай, когда его население состоит в большей части из глупцов и эгоистов и в нем немало мошенников, лодырей и бандитов, а управляют этим обществом люди также невысоких моральных качеств? Ответ на это дается простой. — Все человеческие пороки возникают от порочности общественного строя. Сущность и причины этой порочности блестяще вскрывает анализ капиталистического строя. При социализме эти причины будут устранены и, следовательно... Родись я в середине прошлого века, я на такое рассуждение мог бы только ответить: «Ну, ну, попробуем». Но, проживши почти 50 лет в социалистическом государстве, я теперь могу сказать, что дураков, тунеядцев, эгоистов, пьяниц, воров, хулиганов, насильников и убийц за это время нисколько не убавилось против

* «Выскобленная восковая табличка» (*лат.*), т. е. чистая доска.

прежнего. Идея чистого эпигенеза или самого наивного ламаркизма, оказавшаяся несостоятельной в биологии, не оправдывается, по-видимому, и в приложении к эволюции человеческого общества. Наследственная основа, конечно, определяет облик человека во всем самом главном. Среда и воспитание могут лишь относительно немного развить наследственно обусловленные положительные качества и слегка сгладить отрицательные. Научиться человек может многому, но разрешающая сила ума также ограничена наследственными возможностями, перешагнуть которые нельзя с помощью даже самой усердной тренировки.

Таким образом, мы видим следующее. — Средний моральный и умственный уровень человечества очень невысок. С течением времени он нисколько не повышается. Ум и моральные свойства каждого данного индивида почти полностью определены наследственно и лишь в небольшой мере улучшаются или ухудшаются воспитанием и условиями общественной среды. Единственное право, действующее в человеческом обществе, — право сильного. Поэтому руководящую роль в нем всегда играют люди наиболее агрессивные и корыстные, т. е. обладающие далеко не лучшими моральными качествами. Сила власти возрастает по мере развития техники, обеспечивающей совершенствование аппарата принуждения. Прогресс же техники безграничен. Следовательно, личная свобода отдельного человека по мере развития цивилизации все более сокращается. Сократилась она очень заметно уже и на моих глазах.

Поскольку я совсем лишен потребности властвовать физически или духовно над другими людьми и не ощущаю необходимости в том, чтобы кто-нибудь указывал мне, как должен жить и думать я сам, я не могу не ценить превыше всего личную свободу. Отсюда и понятно, что время, когда она подавлялась много меньше, чем теперь, кажется мне лучшим, чем настоящее. И потому я вспоминаю о том времени с понятной тоской.

Но ведь также с тоской я вспоминаю и об ушедшей молодости. И нет человека, которому в старости не было бы ее жаль. Но, написав все это, я никак не хочу представить тысячу первую вариацию на тему Экклезиаста. Сожаление об ушедшем или об упущенном — родной брат досаде и гневу. А эти последние, мало того, что не очень умны и симпатичны, но они к тому же и наиболее бесполезные из всех эмоций. Они никогда ничего не улучшали в делах людей, но бесконечно много портили. Нам может быть неприятно, что летнее тепло сменяется холодом зимы или что вечером наступает темнота, мешающая нам видеть. Но было бы глупо этим возмущаться или хотя бы сетовать на это, раз таков закон природы и его нельзя изменить.

Уменьшение личной свободы есть необходимое следствие развития общества, обусловленное прогрессом техники. Бесполезно рассуждать, нужен ли он человечеству или нет. Важно то, что остановить его нельзя. И трудно думать, что в конечном итоге он принесет людям счастье. Скорее наоборот. — Принимая во внимание, что достижения техники используются прежде всего людьми эгоистичными, следует ожидать, что ее прогресс рано или поздно приведет к катастрофе. Однако это не дает основания впадать в малодушие и визжать. Ведь и индивидуальная жизнь неизбежно кончается смертью. Панический страх перед ней испытывают те, кто не знает высших ценностей жизни. Об этих ценностях я, может быть, напишу позднее. А покамест скажу только, что их нельзя обрести, если видеть цель жизни в достижении успеха, будь то в накоплении денег, в общественной деятельности, в науке или в искусстве. Совсем, совсем не в том она.

Б. М. Житков

Борис Михайлович Житков стоит как-то совсем особняком среди всех людей, с которыми мне приходилось встречаться, так сказать, по профессиональной линии. Он не похож ни на одного известного мне ученого. С первых дней более близкого знакомства с ним я пытался осмыслить, в чем же причина того, что этот умный, образованный, разнообразно одаренный и деятельный человек никак не относится к категории «больших ученых».

Быть может, лучше всего знакомит с Б. М. составленная им очень короткая автобиография. Она была написана в 1928 году, и мне Б. М. никогда о ней не говорил. Один из ее списков был передан мне уже после смерти Б. М. его учеником Д. М. Вяжлинским в благодарность за сообщение ему одного занятного стихотворения Б. М. (я его приведу ниже). Список этот, хотя и перепечатан довольно тщательно, но на плохой бумаге и с величайшей экономией ее. Принявшись писать о Б. М., я решил, что поступлю наилучшим образом, если приведу его автобиографию полностью, перепечатав ее сам и исправив при этом явные ошибки и опечатки списка.

Итак, пусть он сначала сам расскажет о себе.

* * *

Несмотря на то, что ночь ненастна, что руки у меня зябнут и я устал, я чувствую, что должен, наконец, исполнить Ваше настойчивое желание и написать свой формуляр (не решаюсь сказать — автобиографию).

По современным воззрениям происхождение мое довольно сомнительно. Я принадлежу к старому дворянскому роду и родился в усадьбе сельца Михайловки (Поляны тож) Ардатовского уезда Симбирской губ. 20 сентября 1872 года от довольно состоятельных, но честных родителей. «Мы ленивы и нелюбопытны», и я знаю свой род не дальше прадеда, екатерининская грамота которого пережила революцию в моем столе. Мой прадед Никита Иванович Житков был крупным землевладельцем Черниговской и

Киевской губерний. По семейным преданиям, он «не поладил» не с Петром, а с Павлом за связи с мятежными поляками, и земли его были конфискованы. Возможно, однако, что легенда прикрасила действительность и мой прадед наблудил менее возвышенно. Как бы то ни было, дед мой, Иван Никитич, не имел земельных владений, — имение перешло к моему отцу от бабушки. Дед служил в артиллерии, участвовал во всех войнах России против Наполеона, был ранен в бородинском бою, сражался под Дрезденом и Лейпцигом, входил в Париж и умер в чине генерал-майора в 1840 году. Как офицер, он образовался еще в екатерининское время и отличался независимым характером. Хотя в конце жизни он был начальником артиллерийских гарнизонов, сначала в Казани, потом в Москве, он не приобрел ни земель, ни домов, ни капиталов. С тех пор некоторая степень равнодушия к выгодам денежным и служебным сделалась наследственной в нашей семье. Отец мой, Михаил Иванович, военный инженер по образованию, служил в конно-пионерном дивизионе (конные саперы николаевского времени) и участвовал в защите Севастополя, где получил два ордена за храбрость.

Поселившись в деревне перед освобождением крестьян, он служил мировым посредником, после председателем мировых судей, и умер в 1891 году, 60-ти лет от роду. Он имел превосходное общее образование и владел в совершенстве не только новыми языками, но знал и латинский, которому выучился самоучкой. Мать моя по своему отцу принадлежала к роду дворян Тюбукиных, происхождения татарского. Она дожила до 1921 года и умерла 88 лет, сохранив до конца жизни бодрость тела и ясность ума. Татарский тип заметен был у двух моих родных теток и у младшей сестры — в детстве. Обе бабушки мои были из древнего дворянского рода Филатовых и также скончались в возрасте 82—84 лет. Но дед мой по матери, большой вивёр, умер еще молодым от туберкулеза. Среди моих близких и дальних родственников можно насчитать несколько человек, занимавшихся научной деятельностью. Таковы профессор Нил Федорович Филатов, профессор Влад. Петр. Филатов, профессор Дмит. Петр. Филатов, академик Ал-ей Ник. Крылов, академики Ал-р Мих. и Бор. Мих. Ляпуновы, проф. Сорбонны Виктор Анри, проф. Мих. Ник. Гернет и сестра (его) Над. Ник. Гернет, тоже профессор, да еще чистой математики. Но это частью покойники, частью люди моего возраста или старше меня. Многие же молодые представители обширного рода, потомки другого прадеда моего Мих. Фед. Филатова, подававшие надежды, погибли в последних войнах или в грозе революции.

Детство мое протекало счастливо — в деревенской усадьбе, в обществе 2 братьев (старше меня) и двух сестер (моложе). Мой старший единокровный брат был выдающимся математиком, но в силу различных обстоятельств пошел по дороге административной службы и только под старость вернулся к научной работе. Следующий — родной — брат получил военное образование. Я не помню, когда я выучился читать (самоучкой), и читал очень много, так как в нашем деревенском доме была довольно большая библиотека книг русских, французских и немецких. От отца я унаследовал любовь к литературе и способность очень легко запоминать стихи. В детстве я был зато туп к математике; позже, в школе, она давалась мне вполне легко.

Имение, в котором жили мои родители, принадлежало некогда моей прабабке Е. Н. Ермоловой, по мужу Филатовой, и до 30-х годов прошлого века было пустошью. Усадьба наша (разоренная только в 1917 году революцией) лежала у самой долины реки Алатыря, в красивой, обильной лесами и луговыми угодьями местности. Во времена моего детства помещичьи усадьбы в нашем и соседних уездах были сравнительно еще многочисленны. Я желал бы когда-нибудь найти время (или, вернее, прилежание) и описать современную моему детству жизнь в этих усадьбах, фруктовых садах и парках — жизнь, теперь забытую и презираемую, но некогда родившую не одних злодеев, но и Пушкиных, Тургеневых, Аксаковых, Сеченовых, Ковалевских и Бутлеровых.

Из наших соседей-помещиков было немало людей вполне культурных. Но представители молодого поколения, мои сверстники, превращаясь в офицеров, юристов, инженеров или ученых, навсегда уходили из деревень. Оставались юноши поплоше, а то и вовсе недоросли и неудачники, и из них набирались земские начальники, уездные предводители, состав уездных земских управ и прочие деятели глухой провинции. Так подготовлялся окончательный разрыв поместного дворянства с народом. Но я не могу поручиться, что уездные власти и уездные суды того времени были много хуже теперешних. Дело не во внешних условиях, а в людях. Природа сделала важную ошибку, не выбрав в качестве основы для эволюционного развития человека собак, а обратившись для этой цели к обезьянам. Теперь эту ошибку уже не исправить...

Леса и лесные уремы вблизи нашего именья были еще в 80-х и 90-х годах богаты зверем и дичью. С детства (с 8-ми лет) я пристрастился к охоте и, хотя и остыв несколько с годами, все же остался верен этой страсти до конца жизни. Я помню еще остатки славных псовых охот Симбирской губернии, — нашего соседа, знаменитого в мире псовых охотников П. М. Мачеварианова, Н. П. Ермолова и других помещиков. Помню старых доезжачих и егерей из бывших крепостных.

Мне не было еще 10 лет, когда я поступил (в 1882 г.) в 1-й класс Алатырской прогимназии. Уездный город Алатырь, расположенный на высоком берегу Суры около устья реки Алатыря и тонувший в садах, находился в 50 верстах от нашего именья. Зеленые поймы тянутся там далеко за рекой до синеющих на горизонте лесов Засурья. Товарищами моими по прогимназии были преимущественно дети городских мещан и мелких торговцев окрестных сел. Все детство я играл, как равный, с крестьянскими детьми. Общество это положило на мой склад мышления и мой характер известный отпечаток. Иногда мне кажется, что я в большей мере демократ, т. е. более понятен народу, чем Керенский.

По окончании прогимназии в 1886 году я перешел в пятый класс Нижегородского дворянского института, откуда поступил (в 1890 г.) на естественное отделение

физико-математического факультета Московского университета. Я уже не имел случая, подобно моей матери, ездить из имения в Москву «на долгих» (на своих лошадях с кучером, лакеем и горничной): во времена моего детства уже существовали Московско-Нижегородская и Московско-Пензенская жел. дороги; а студентом IV-го курса я приехал из Москвы в Сырятино — усадьбу моей бабушки по матери — по только что построенной Московско-Казанской. Но в школьные годы свои я ездил на перекладных в Нижний, Симбирск и Пензу через цепь почтовых станций, где «за стеной храпит смотритель, сонно маятник стучит». В Университете я начал заниматься преимущественно зоологией, сначала по курсу проф. А. П. Богданова, после, со II-го курса, под руководством проф. А. А. Тихомирова, по кафедре которого (зоологии позвоночных) я был оставлен при Университете. А. А. Тихомиров, по моему мнению, был один из наиболее образованных и способных профессоров того времени, но рано (в 1904 году) покинул Университет, перейдя на службу в Министерство народного просвещения. Зная его очень хорошо, я привык уважать его и сохранил дружбу с ним до настоящего времени. Кроме Тихомирова, выдающимися профессорами естественного отделения в мое время (первая половина 90-х годов) были А. Г. Столетов (физика), Н. Н. Любавин (техническая химия), А. П. Павлов (геология), К. А. Тимирязев (анатомия и физиология растений) и И. Н. Горожанкин (морфология и систематика растений). Но последнему в его академических делах мешали лень и водка, а предпоследнему — своеобразная задорливость характера и хлесткая фельетонность полемических выступлений. На IV курсе я занимался физиологией в лаборатории И. М. Сеченова, который только что перешел из Петербурга на кафедру в Москву. Из перечисленных профессоров двое (А. А. Тихомиров и А. П. Павлов) еще живы, и последний недавно только кончил читать.

Оставление при кафедре (которое могло и не случиться) поставило меня на рельсы науки. Но наука далеко не наполняла моей жизни, и я остался навсегда дилетантом. Только недурные способности и некоторое общее образование позволяли мне держаться приблизительно на уровне тех требований. которые следует предъявлять преподавателю университета. Теперь, впрочем, дело подготовки ученых сильно упростилось. Признаваясь в малой учености своей, я должен сделать еще одно замечание: во времена моей юности большинство ученых, которых я знал, были также и образованы. Теперь такие встречаются много реже. И, наконец, еще вот что. Человеку, не знающему коротко жизни ученых, писателей, музыкантов и других сравнительно вольных людей, может показаться, что жизнь их — непрерывная цепь трудов, успехов и испытываемого от этих успехов удовольствия. Это, конечно, не верно. Кто в темный и сырой осенний вечер встанет на Каменном мосту, тот увидит уходящую вниз по Москва-реке длинную цепь огней. Вдали огни эти кажутся сближенными, образуя частый, блестящий ряд. Но это обман. Фонари с их слабым, почти не проницающим тумана светом стоят далеко один от другого. Между ними сырая тьма, и слякоть

набережной, и брань кухарок в воротах, и полутрупы пьяных в уличной грязи. Попросту говоря, всякое возвышенное ремесло не так уж сильно отличается от сапожного или слесарного. А в мире людей, ищущих славы, самолюбивых тупиц хоть отбавляй.

По истечении срока оставления при Университете я был ассистентом Зоологического музея; около 1900 года (я плохо помню даты моего послужного списка) окончил магистерский экзамен и сделался приват-доцентом, в 1916 году факультетом избран в штатные доценты по курсу зоологии позвоночных, в 1919-ом — при переизбрании преподавателей Университета — избран штатным преподавателем со званием профессора. В 1921 году советом Петровской академии выбран штатным профессором на кафедру биологии лесных зверей и птиц и позже занимал ту же кафедру в Московском лесном институте до его закрытия (1925 год). С 1922 г. я заведываю мною же основанной Биологической промысловой станцией в Лосиноостровском опытном лесничестве (теперь это отдел Центральной лесной опытной станции). С 1926 года я читаю также во II-ом Университете. Со времени их основания состою действительным членом Колонизационного и Зоологического исследовательских институтов, в последнем недавно избран членом президиума. Состою в Полярной комиссии Академии наук. До революции я числился, отчасти числюсь и теперь, в президиумах и советах нескольких ученых обществ Москвы и Петербурга. Я работал также по некоторым специальным вопросам промышленности и путей сообщения в комиссиях Министерства земледелия и Министерства путей сообщения.

Кроме высших учебных заведений и высших курсов (напр., Курсов охотоведения при Петровской академии в 1912—16 гг.) я преподавал несколько лет в гимназии Поливанова, с собственником которой, И. Л. Поливановым, был связан родством и дружбой. С 1907 по 1909 год я заведывал учебной частью Александринского института, а с 1913 по 1918 — Института московского дворянства. Желая увеличить свой заработок (я терпеть не мог ездить в третьем классе) и не склонный к карьере педагога, я после окончания университета начал работать (никогда не подписывая статей своей фамилией) в газетах и журналах. Между 1896 и 1912 годами я написал множество фельетонов, литературных и научных, газетных заметок, журнальных статей и всяких иных построчных произведений (кроме только бульварных романов). Из газет я писал в «Русских Ведомостях», «Голосе Москвы», «Русском Слове» и «Утре России», также временами в некоторых провинциальных. Названия многих (охотничьих и общего содержания) журналов, в которых я сотрудничал, я давно забыл. В те времена я хорошо знал мелкую газетную и журнальную богему, весьма невежественную, а нередко и наглую. Публика получает газеты так же, как она покупает дрянные конфекты и некоторые иные деликатесы: есть можно, даже сладко, но лучше не знать, как это приготовляется. В течение Европейской войны я много писал в экономических изданиях. Несколько лет я редактировал журнал «Естествознание и География» совместно с издателем его М. П. Вараввой. Редактировал также длинную серию изданий

Московского комитета шелководства, ученым секретарем которого пробыл с 1894 по 1918 год, т. е. до закрытия Комитета.

За время с 1893 по 1923 год я сделал ряд научных путешествий по поручению различных ученых обществ и правительственных учреждений. Еще студентом II курса я занимался исследованием фауны Среднего Поволжья, а будучи на IV курсе, был командирован Обществом любителей естествознания на Урал для зоологических работ. По поручению того же общества я вместе с С. А. Бутурлиным в 1900 году ездил для географических и фаунистических исследований в Архангельскую губернию, на Колгуев и Новую Землю. Позже, в 1902 и 1908 годах, я руководил двумя экспедициями Русского географического общества на Дальний Север — на Канин и Ямал. Последняя экспедиция дала наиболее интересный географический материал, связанный к тому же с вопросом об использовании Северного морского пути в Сибирь. Изучением последнего и содействием его развитию я занимался ряд лет и теперь нахожусь в курсе этого важного для будущности Сибири дела благодаря дружеской любезности руководителей Комитета северного морского пути. С Севером я познакомился впервые давно, в 1893 году, когда провел лето на биологической станции на Белом море. Позже станция эта была переведена на Мурманский берег, тогда она помещалась у стен Соловецкого монастыря. В различное время по командировкам Общества любителей естествознания, Комитета шелководства и Министерства земледелия я занимался исследованиями в устьях Волги, в Закаспийской области, в Туркестане, в Предкавказье и Закавказье и других местностях России. Несколько раз я посещал Западную Европу, а в начале европейской войны (январь-февраль 1915 года) ездил по поручению Московского университета и Московского археологического общества знакомиться с высшими учебными заведениями и научными учреждениями оккупированной Галиции. Я числился также членом нескольких заграничных ученых обществ, между прочим Международной полярной комиссии в Брюсселе. Но теперь сохранил связь только с Обществом научной маммалиологии в Берлине. За географические работы я был награжден медалями нескольких ученых обществ и премией имени Н. М. Пржевальского от Географического общества.

Первые годы революции (1917—19) я провел в Москве и за это время служил «консультантом» в нескольких учреждениях, между прочим, в «Центротекстиле». Там мною совместно с Н. Н. Кукиным (инженер-механик, специалист по обработке шелка) была сделана только одна полезная работа, — составлен проект шелкового кондиционa, который собиралось устраивать Управление Центротекстиля. Но проект, переписанный набело в одном экземпляре, был затребован «в виду его интереса» в Высший совет народного хозяйства и там при многократной передаче из отдела в отдел пропал. Черновики были у Н. Н. Кукина, который, вскоре после окончания нашей работы, умер от тифа. О потере этой работы я жалел больше, чем о 4-х моих

рукописях (от 3-х до 6-ти печатных листов каждая), потерянных Государственным издательством в период между 1918 и 1922 годами.

Летом 1919 года я, вместе с С. А. Бутурлиным и тремя студентами, отправился в Алатырь во главе экспедиции для зоологических исследований в бассейне Суры. Теперь уже почти забыты подробности жизни того времени. В Москве был голод, ничего нельзя было купить. В Арзамасе мы с удивлением и радостью увидали на станции баб, продававших картофельные, очень грязные лепешки. «Заградительные отряды» обыскивали поезда, отбирая у плачущих и проклинающих весь мир людей караваи хлеба, мешочки муки или соли и другие полезные вещи. Казалось, что все жители страны сумасшедшие и разделяются на две категории — грабящих и ограбляемых. Многие проходили последовательно по нескольку раз через обе эти специальности. В Алатыре я пробыл с лишком два года (до октября 1921 года), занятый устройством (по желанию местных властей) высшего учебного заведения — Института природоведения, рудимент которого и ныне сохранился там в виде так называемого педтехникума. Теперь я часто жалею, что, имея к тому возможность, не сохранил картин жизни уездного города революционного периода ни в подробных дневниках, ни в фотографических снимках. За два года я видел там много интересного, между прочим и картины голода 1921—22 гг., о котором народ будет рассказывать и в далекие будущие времена.

К зиме 1921 года, когда Московский университет начал понемногу выходить из 3-летней летаргии, я вернулся к преподаванию в Университете и других высших учебных заведениях г. Москвы. Но теперь я уже начал чувствовать тяжесть возраста, связывающего не только мои мускулы, но и инициативу и бодрость духа. Особенно после тяжелой болезни, продолжавшейся с ноября по май текущего года, я почувствовал непривычные мне неуверенность движений, нерешительность действий и вялое равнодушие к событиям. Я могу легко пояснить сущность последнего чувства на примере малого значения. Пока я пишу эти строки в своей летней квартире при Биологической станции в Погоннолосином Острове, на столе передо мной медленно тухнет керосиновая лампа. Ни жены моей, ни кухарки нет дома, и я не знаю, когда они вернутся. Я смотрю на лампу и вспоминаю образы многих милых женщин различного общественного положения, которым я в свое время старался внушить недоступную им идею о том, что керосин в лампу нужно наливать заблаговременно, а не тогда, когда она, начадив, погаснет. Дьявол, несомненно, умеет внушать гораздо лучше меня. Раздражался ли я прежде от таких педагогических неудач? Кажется, да. Но теперь я уже давно смотрю на потухание лампы во время моей работы, как на явление космическое. Да и разница между большим и малым как будто исчезла. Все, что происходит, было предопределено тогда, когда вот на этом самом месте ходили бронтозавры, и даже гораздо раньше. Всему свое время и все идет к неведомой нам цели. Поэтому я и не ропщу на судьбу, велением которой предуказано было, что я не мог сделаться ни

«нашим известным фельетонистом», ни «нашим маститым и известным ученым». Раз случилось, что составитель словаря писателей Венгеров, взор которого проникал псевдонимы, обратился ко мне с письмом, требуя от меня автобиографии. Я послушно написал таковую на почтовом листке, аккуратно заклеил в конверт и отдал университетскому служителю, чтобы он бросил письмо в ящик. Но служитель Ефим письмо потерял и, по несколько странной добросовестности, вместо того, чтобы свалить конечный результат на почту, пришел ко мне с повинной. Я принял это за указание свыше и другого письма не писал. С ученой же карьерой и известностью дело обстояло и обстоит еще более трансцендентально. Однажды одно человеческое существо, столь же любопытное, как и Вы, пожелало непременно знать, что я пишу и много ли написал. От ответа на первый вопрос я решительно уклонился. На второй ответить было легче. Я выложил на стол мои переплетенные статьи, положил сверху томы «Записок Географического общества», в которых находятся описания моих путешествий, и, взяв складной метр, определил, что я написал (считая поперек) двадцать восемь сантиметров. Вы спросите — разве этого мало для известности. Мало, — и на это есть причины, от меня не зависящие. Прежде всего Вам, может быть, неизвестно, что ученые статьи в большинстве случаев читают только три лица — сам автор, наборщик и корректор. Кроме того, путь к известности преградила мне моя фамилия. (Не удивляйтесь). Когда я, еще студентом, написал статью для немецкого ученого журнала, я подписал ее, по принятой тогда транскрипции, так: Shitkov. Позже я нашел во французском журнале краткие рефераты моих русских работ по географии. По понятным причинам французы изобразили мою фамилию так: Jitkoff. А еще позже какая-то заграничная комиссия решила передавать русскую букву Ж через Z, и я сделался — в указателях литературы — Zitkov. Вы понимаете, что это печальное обстоятельство распылило мои 28 сантиметров между тремя лицами и лишило меня надежды на посмертную славу; ибо и самый опытный библиограф теперь не соберет воедино моих творений, если бы ему и пришла странная мысль этим заняться. Еще труднее будет составить посмертную биографию этих трех лиц.

Слушайте дальше и теперь уже удивляйтесь, если хотите. В Ленинграде живет писатель Борис Степанович Житков. Он пишет детские рассказы, которые печатают московские издательства. Понятно, что отчества своего он, как и я, на книжках не ставит. Ему-то и обязан я некиим дуновением славы, которое начал чувствовать в последние годы. По крайней мере мальчики и девочки, которые играют и здесь, и на дворе моей московской квартиры, часто спрашивают меня, я ли написал про подводную лодку и про медвежонка. Я честно отрицаю это, но вижу, что дети мне не верят и недовольны моей скромностью.

Но не могу же я радоваться известности, столь маргариновой. И потому, когда барышня в сберегательной кассе вписала в мою книжку безналичный перевод в 46 руб., пришедшие (так! — *Б. К.*) в виде гонорара из источника, мне неизвестного,

и, по-видимому, принадлежащие моему тезке, я взял их себе в надежде, что означенный Борис Житков, поняв, что ему приходится терять не только частицы славы, но и вещи более существенные, перестанет путаться в мои дела.

Сообщу Вам еще один случай, который — думаю — убедит Вас окончательно, что по делу о моей славе происходит игра (вернее, борьба) потусторонних сил. Совсем недавно издательства двух краевых энциклопедий одно за другим обратились ко мне, требуя присылки моих научных автобиографий и портретов. Действуя под влиянием минуты, я послал то и другое. Но обе энциклопедии прогорели, не дойдя до буквы Ж. Теперь я твердо решил не поддаваться больше ни на какие провокации.

Но я не поддаюсь и разочарованиям и продолжаю преподавать в Университете и писать ученые статьи. Плохо только то, что за них гонорара не платят (что и определяет их действительное. а не кажущееся значение). Поэтому иногда я подумываю, не начать ли мне писать детские рассказы. Ведь благодаря Борису Житкову я имею уже некоторую известность в этой области деятельности.

Мне приходится также приобретать новые специальные познания, но это я делаю уже не с прежней охотой. Все глубже и яснее понимаю я теперь слова Писания, которые гласят: «Мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым» (кн. Екклезиаста, II, 16).

Погонно-лосиный Остров
15 июня 1928 года

Если о Г. А. Кожевникове я много наслышался еще до поступления в университет, то о Б. М. Житкове до знакомства с ним не знал ничего. И знакомство это, даже только внешнее, состоялось не с первых дней моего появления в университете. — Осенью 1920 года Б. М. был еще в Алатыре. Но в Музее имя его постоянно произносилось. Его возвращения в Москву ожидали. И вот, в начале 1921 г. он появился. Стал читать свои курсы. Основной и обязательный для студентов-зоологов и ботаников был курс зоологии позвоночных. Кроме того, он читал курс, называемый им «избранные главы из зоологии». Ни того, ни другого я не слушал, хотя говорили, что читал Б. М. хорошо и даже увлекательно. Доступно, но вполне серьезно. Если лекции Г. А. Кожевникова предварялись суетой и шумом на весь Музей, то Б. М. организовал свои как-то совсем незаметно. Аудитория его была немногочисленна, но состав ее был очень определенный и постоянный. Он был почти чисто мужской. Слушали Б. М. и специализировались у него преимущественно студенты, шедшие в зоологию от охоты, рыболовства и т. п. Но это уже позднее, когда Б. М. более обосновался не только в университете, но и во всяких лесных и пушно-промысловых

учреждениях. На первых же порах после возвращения в Москву он особой деятельности в университете не развивал.

Переезд из Алатыря дался Б. М. тяжело. Поезда по всем дорогам ходили тогда очень медленно и нерегулярно. Путешествие до Москвы длилось не сутки и не двое, происходило со многими пересадками, на каждой из которых приходилось штурмовать вагоны, а вернее — теплушки. Значительная часть пути проходила по районам, охваченным ужасным поволжским голодом. Б. М., конечно, запасся на дорогу какой-то едой. Но всю ее он роздал на первых же станциях голодающим, вид которых потрясал его и лишал способности поедать свою пищу. Доставился в Москву он едва живой от истощения.

В Москве у Б. М. были дочери. С женой он был разведен, и я не знаю, была ли она жива. Мне он о ней никогда ничего не говорил. Где-то в районе Пречистенки или Остоженки у Б. М. была квартира или комната в квартире, общей с дочерьми или с одной из них. Летом он жил на даче при лесничестве в Погоннолосином Острове. Но основным его жильем был кабинет в Зоологическом музее с левой стороны коридора, ведущего в библиотеку, между кабинетом Э. Е. Беккера и лабораторией большого практикума.

Впрочем, трудно сказать, что следовало считать основным жилищем Б. М. — Он был очень подвижен. Помимо преподавания в университете, он был занят в очень многих и разнообразных учреждениях. Охрана природы, охотничье хозяйство, пушной промысел и пушномеховая промышленность, Дальний Север и его освоение, педагогика и методика преподавания в высшей и средней школе — все это были области, к которым он имел близкое отношение. До революции и в самые первые годы после нее он много занимался вопросами шелководства. Вероятно, продолжал что-то делать в этой области и позднее. Во всяком случае, связи с шелководством, по крайней мере, личные, у него сохранились, так как приезжавшие в Москву из Средней Азии и Закавказья специалисты-шелководы всегда посещали его. Кроме того, он постоянно имел дела с различными издательствами, в которых печатались его сочинения, по большей части научно-популярные. Круг знакомых Б. М. был очень широк и разнообразен. Он часто бывал в гостях, иногда и за пределами Москвы. Так, он довольно регулярно ездил в Сергиев Посад (Загорск) навещать своего учителя А. А. Тихомирова. Можно предполагать, что и кроме него среди сановных и чиновных некогда обитателей Посада у Б. М. были друзья и добрые знакомые. За всеми этими занятиями Б. М. мало проводил времени в своем музейском кабинете, если только не писал какое-нибудь более крупное сочинение. Чаще же всего он приходил в Музей довольно поздно вечером, ночевал, пил утром чай и пускался в бега по Москве.

Именно, пускался в бега. Потому что походка у Б. М. была быстрая и ее всегда хотелось назвать побежкой. Шагал он большими шагами, далеко при этом выбрасывая трость, держась прямо и подняв высоко голову. Вообще в повадках Б. М. было что-то волчье. Роста он был довольно высокого, худощавый. В своей автобиографии

он упоминает о татарских предках в своей родне. Говорит, что татарские черты были довольно заметны у его сестер в детстве. Я улавливал эти черты в нем самом, не зная о его татарской крови. Мне казались характерными в этом смысле морщины близ углов его глаз и около ушей. Очень выразительно его отличало пенснэ старого образца с дужкой. Мне всегда казалось, что оно вот-вот спадет с носа, что и заставляет его закидывать голову назад.

Говорили, что в молодые годы Б. М. был очень элегантен, почему его и называли «маркизом». Говорили также, что он имел большой успех у дам. И этому легко можно было поверить. Рассказывали, что в одном из дворянских женских институтов, в котором он преподавал и заведывал учебной частью, одна старшая воспитанница взялась на пари поцеловать Б. М. Выбрав время, когда он сидел один в своем кабинете, эта девица неслышно подошла к нему сзади, охватила за шею и поцеловала. Б. М. нисколько не растерялся. Он воскликнул: «Душечка!» и заключил ее в объятия. Стоявшие за дверью подруги со смехом ворвались в кабинет и зааплодировали. Но Б. М. не смутился и этим. Продолжая держать озорную девчонку за талию, он тоже принялся громко смеяться. Нужно полагать, что институтки любили его и устроили эту шалость без злого намерения. Иначе, конечно, эта история дошла бы до начальницы и до более высоких властей и вряд ли обошлась без неприятных для Б. М. последствий.

В годы, когда я его знал, Б. М. никак не блистал элегантностью. Не могу припомнить, чтобы я хоть раз видел его в приличном новом костюме. Казалось, точно он извлекал части своего гардероба из сундуков, где они хранились со времен его молодости, одни надевал такими, как они были сшиты лет 20—30 тому назад, другие предварительно перелицовывал. И казалось, что и перелицовку-то производили каким-то домашним способом. Штаны у Б. М. всегда были слишком длинны и узки. Пиджаки или тужурки — какие-то окургуженные, узкие в плечах, с коротковатыми рукавами, нередко обшитыми по краю тесьмой. Башмаки он носил дешевые, солдатского образца или самого ширпотребного «скороходовского» фасона. Летом Б. М. ходил в крылатке, весной и осенью в серой тужурке тяжелого драпа, зимой носил поддевку со сборками, иногда полупердень охотничьего типа. В сильные морозы шею повязывал толстым шарфом, по-мужицки, и обувался в валенки, в которых часто ходил и дома. На голове носил зимой лисий, позднее — пыжиковый треух, а летом широкополую черную шляпу, опять-таки всегда достаточно поношенную. Впрочем, при всей скромности и даже, можно сказать, бедности своей одежды Б. М. никогда не выглядел неряшливо. Все на нем было чисто и аккуратно, башмаки всегда были вычищены.

Вообще же не только в одежде, но и во всех других своих потребностях Б. М. был очень скромен. Он нельзя сказать, что курил, но очень умеренно покуривал. Но всегда только самые дешевые папиросы. Все это не вяжется со словами его автобиографии, свидетельствующими о некоторой любви его к комфорту («я терпеть не мог ездить в третьем классе»). Однако Б. М. никак не был скупцом. Довольно уже того, что он

помогал материально Тихомирову. Летом, когда его родственников не было в Москве, а сам он днем находился в городе и вынужден был обедать в ресторане, он обязательно искал себе партнера, чаще всего какую-нибудь студентку, которую и угощал обедом, так как очень не любил есть в одиночку. Мне известно, что он помогал деньгами своим ученикам, а вероятно, делал это не только в отношении их. Но во всяком случае он никак не был расточителен, а при отсутствии скупости — умерен и бережлив.

Б. М. не относился к категории людей с душой нараспашку. Он никогда не пускался в откровенности. Да и все поведение его было какое-то немного загадочное. Я, будучи с ним впоследствии в очень сердечных отношениях, никогда не слыхал от него ни слова о его семейных делах. Не расспрашивал он меня и о моих. Очень принято таких людей, не входящих близко в чужие дела и не подпускающих других к своим, считать эгоистами. Может быть, это так и есть. Но я замечал, что именно такие люди и бывают по-настоящему добры, а главное — общение с ними легко и приятно. Они не желают тебе счастья на свой вкус и не насилуют твою волю, как им кажется, в твоих интересах. Это люди, высоко ценящие свою свободу и именно потому уважающие свободу других. И почему-то как раз они находят удовольствие в том, чтобы делать людям добро. Не из высоких этических или социальных побуждений, а просто потому, что это им приятно, т. е. тоже из эгоизма. И Б. М. был большим любителем доставлять себе такие удовольствия. Чаще всего он проделывал это на детях. Стоило только ему войти в ворота университетского двора, как за ним увязывалась стайка игравших там ребятишек, детей дворников, служителей и другого низшего персонала. Они бежали за ним хвостом и проходили, предводительствуемые им, через черный ход Музея в коридор и дальше в его кабинет, где и устанавливались в очередь. Там Б. М. торжественно доставал мешочек с сахарным песком и чайную ложку. Дети один за другим подходили к нему с раскрытым ртом. Б. М. всыпал каждому в рот ложку песку, после чего все они немедленно выкатывались. Детей этих Б. М. называл «мои крысы».

Моя первая встреча с Б. М. состоялась при обстоятельствах, которые, хотя и не характеризуют его, все же сами по себе заслуживают того, чтобы их описать.

В первый год моего пребывания в университете мне было 17 лет. Такого же примерно возраста были и другие члены энтомологической компании, сгруппированной вокруг Е. С. Смирнова, которому самому было немного за 21. Но мы были уже не школьники, а студенты, называли друг друга по имени и отчеству и изо всех сил старались изображать из себя лихих буршей. При полном запрете в то время всяких алкогольных напитков нам остро недоставало важнейшего элемента студенческой вольницы доброго старого времени — пьяных пирушек.

В Музее не было недостатка в спирте-сырце, шедшем на консервирование различных животных, но настолько противном на вкус и вызывавшем такое тяжелое похмелье, что пить его могли только привычные пьяницы. Когда в начале 1921 г. в Музей поступило какое-то количество этилового ректификата для лабораторных

целей, все сильно оживились. На имя хозяйственного ассистента, каковую должность исправлял Э. Е. Беккер, от всех преподавателей и от студентов-специалистов стали поступать так называемые «мотивированные заявления» на ректификат. Фиксация инфузорий по Буэну требует для последующей отмывки наибольшее количество спирта. Поэтому в протистологов мгновенно превратились все, кто никогда не имел никакого дела с простейшими. Требования, во всяком случае — студентов, были очень скромны: просили по 100—150 кубиков. Эрнест Егорыч, принимая наши заявления, с самым серьезным видом отмеривал и наливал нам в баночки просимую порцию. Таким способом была создана наиболее необходимая основа намеченного увеселения.

Следующей проблемой, тоже тогда достаточно серьезной, была закуска. Она была решена следующим образом. — В то время И. И. Месяцев с несколькими своими друзьями развил усиленную деятельность по созданию «Пловморбина» — Пловучего (по прежней орфографии) морского биологического института (позднее «Пловморнина», затем «Гоина», ныне ВНИРО). При организации всякого нового учреждения тогда прежде всего исхлопатывались продовольственные пайки. Вопрос о штатах, в отличие от теперешнего времени, не доставлял хлопот. Не знаю даже, существовало ли тогда вообще понятие штатного расписания. В состав «Пловморбина» включили не только тех, кто действительно намеревался изучать жизнь морей и океанов, но чуть ли не весь персонал Зоологического музея, включая и некоторых студентов. Поплывут они по морям или нет, — это дело будущего, но пока все получали еще один паек (дополнительно к университетскому и к пайку по Косинской станции) и еще какое-то количество миллионов. Е. С. Смирнов, конечно, тоже числился в «Пловморбине», и его причастность к этой организации помогла нам обставить запланированную оргию необходимым закусоном. — Для будущих полярных рейсов Месяцев раздобыл запас продовольствия. Происходило оно из трофеев, добытых при ликвидации англо-американской интервенции на Мурманском полуострове. Кабинет Месяцева по всем стенам до самого потолка был обложен мешками с белой мукой, сахаром, горохом, какао, большими металлическими банками с топленым свиным жиром. Еще там было сложено довольно много трофейных же винчестеров, вероятно, прихваченных заодно с харчами (ведь нужно же из чего-то стрелять белых медведей!). Всей этой роскоши (за исключением, конечно, винтовок) и раздобыл понемногу Е. С.

В 9 часов вечера, как только ушел дежурный служитель и Музей был заперт, мы принялись за работу. Замесили муку и в комнате большого практикума стали жарить на свином сале лепешки, варить горох и какао. Чаду, конечно, напустили на весь Музей. Приготовленая пища, казавшаяся нам, всегда в то время голодным, божественно вкусной, была принесена в библиотеку, и пиршество началось. Что до меня, то я в тот вечер имел дело с алкоголем впервые в жизни. Думаю, что и другие мои товарищи вряд ли имели больший опыт в этом деле, разве что Е. С. мог быть просвещен

немного больше. Разведенный спирт оказал свое действие мгновенно. Мы стали горланить песни, возиться друг с другом и очень скоро просто легли костьми. События этого вечера мало сохранились в моей памяти. Но зато очень хорошо запомнилось ужасное пробуждение. — Адская головная боль, чувство стыда и раскаяния. Остатки пищи и грязная посуда на столе. Смертельно бледные товарищи со страдальческими физиономиями. Нижние стекла почти во всех шкафах были разбиты. В водопроводной раковине и кое-где на полу... Мерзость! Прибрав кое-как за собой, мы разбрелись по домам. Меня удивило, что, когда через день после этого я пришел в Музей, разбитые стекла в шкафах были уже заменены фанерой. По-видимому, Е. С. успел распорядиться на этот счет, а столяр срочно выполнил требуемую работу. Фанерки эти смотрели на меня немым укором еще года три или четыре, пока наконец в шкафы не вставили стекла. Конечно, Г. А. Кожевников не мог не узнать о произведенном нами безобразии. Но он не сказал нам по этому поводу ни слова. Разве что с Е. С. у него был разговор на эту тему, но тот об этом нам ничего не говорил. А вполне могло быть, что и с ним Г. А. это событие не обсуждал. Ведь в университетах с самых древних времен студенческие проказы были терпимы!

Но еще до того, как мы упились окончательно, а пока нестройно вопили «Гаудеамус», дверь в библиотеку отворилась и на ее пороге появились С. И. Огнев и впервые увиденный мною тогда Б. М. Житков. Мы пришли по этому поводу в чрезвычайный восторг. Е. С., как старший, стал приглашать их принять участие в нашем увеселении. Они отказались. Огнев сказал, обращаясь к Б. М.: «Смотрите, как приятно, что студенты сохраняют старые традиции» (имелось в виду пение «Гаудеамус»). Б. М. ответил с улыбкой: «Да, да, это очень хорошо». И они ушли.

Присущая Б. М. сдержанность никак не мешала его большой общительности. Совершенно естественно поэтому, что при близком соседстве (через дверь по коридору) у нас очень скоро завязались отношения. Я уже говорил (см. о Г. А. Кожевникове), что Б. М. нередко заходил ко мне вечером или утром для совместного чаепития или просто побеседовать. Он был прежде всего, что называется, человек бывалый. Не могу сказать, чтобы я очень уж любил людей такого сорта вообще. Чаще всего они чувствуют за собой право на всеобщее внимание и любят повествовать, считая свои повествования поучительными. При этом они думают, что одолжают собеседника, обогащая своими рассказами его жизненный опыт. Но не испытывают благодарности к нему за то, что он, слушая, удовлетворяет их потребность выпрядать свою повествовательную нить, которая, в сущности, представляет собой экскрет, вызывающий необходимость освободиться от него. Но Б. М. совсем не был таким разговорщиком. То, что он рассказывал о виденном или пережитом, всегда укладывалось в рамки разговора на совместно обсуждаемую тему. Конечно же, он сообщал мне всего несравненно больше, чем я ему. Но я при всей своей болтливости не ждал с нетерпением перерыва в его речи, чтобы вставить что-то свое. А говорил Б. М. хорошо. И при этом в его разговоре (как и в писании) не замечалось старания выражаться правильно или красиво. Литературный вкус, правильнее сказать, чувство языка и любовь к нему были у него вполне органичны. А так как, в дополнение к этому, он был наблюдателен и умен, то его оценки событий и людей были всегда очень метки, и они не забывались.

В своей автобиографии Б. М. пишет, что наука далеко не наполняла его жизнь и что он навсегда остался дилетантом. Это, конечно, верно. Поэтому я не раз слышал мнение о нем как о неудачнике. Но я с этим никак не мог согласиться. Можно ли считать неудачником человека, который не достиг в жизни того, что называется успехом, т. е. широкой известности, славы, власти или богатства? — Да, он неудачник, если хотел добиться этого. Но ведь можно такой цели перед собой и не ставить. Честолюбивы в той или иной мере почти все люди, при этом одаренные — не меньше, чем бездарные, а скорей, пожалуй, наоборот. Очень возможно, что честолюбие — важнейший двигатель всеобщего прогресса. Даже почти наверное это так и есть. Ведь это оно заставляет людей продвигать свои изобретения, оповещать о сделанных открытиях и настивать на правильности высказанных мыслей. Но оно же лежит в основе навязывания людям своей воли и стремления к господству над окружающими, т. е. насилия над ними. А жажда одобрения другими своей деятельности или идей, жажда всяческого признания — не основана ли она на отсутствии убежденности в собственной правоте?

Я уже писал о пиквикизме, как о характернейшей черте ученых, вытекающей из свойственного им сознания, что они выполняют особо важную функцию в обществе, и свидетельствующей об их ограниченности, об их мещанстве. Так вот, Б. М. был совсем чужд всякого пиквикизма. Конечно, он не был гениальным ученым. Будучи человеком умным, он это понимал. Этим он и отличался от сотен и тысяч деятелей науки, одаренных средними способностями, но не видящих принципиальной разницы между собой и Эйнштейном. А мещанство было ему несвойственно, как мне кажется, в значительной мере по его происхождению.

В Б. М. было очень много от его дворянства. Трудно определить точно, что это было именно. Но это было то, без чего просто нет Бунина, что так сильно в Толстом, что сверх всей его гениальности лежит еще совсем особым налетом на Пушкине. Я никак не хочу считать это нечто чем-то безусловно высшим. Если взять все характерные особенности «дворянства», то среди них окажется немало и отрицательных. Но несомненно ценна в аристократизме его противоположность мещанству. А так как дух мещанства стал вскоре же после революции абсолютной доминантой в нашем обществе и становится ею все больше и больше, то это заставляет ценить то, что ему противно.

Если Б. М. и заявляет, что научная деятельность ничем не более почетна, чем всякая другая, то все же он относится к ней с достаточным уважением. И чисто по-дворянски, с заметной гордостью, перечисляет ученых, вышедших из его рода. Но ничуть не меньше он гордится тем, что его предки не обворовывали казну. И именно гордится, а не кичится добродетелями, украшающими его род. Это очень характерно. И в связи с этим мне припоминается еще один из моих тогдашних знакомых.

Одно время я нередко встречался с Николаем Ивановичем Тютчевым, внуком поэта Ф. И. Тютчева. Это родство, быть может, помогло ему не быть уничтоженным революцией (во всяком случае, до 1935 года; после своего заключения я навсегда потерял его из виду и не знаю, дали ли ему спокойно умереть). Подмосковное имение Тютчевых Мураново было превращено в музей, а Н. И. был назначен его хранителем и жил в нем вместе с сестрами — незамужней Софьей Ивановной, бывшей фрейлиной двора и воспитательницей дочерей Николая II, ушедшей в знак протеста против деятельности Распутина, и другой, имени которой я никак не могу припомнить, по мужу Пигаревой. Была у него квартира и в Москве, тоже, как и мурановский дом, полная всяких драгоценных реликвий и рукописей. Н. И. был старым холостяком. Кажется, он никогда не служил или, по крайней мере, не служил в годы перед революцией, а числился при дворе и имел звание камергера. Но жил в Москве и был заметной фигурой среди тамошней знати, одним из старшин аристократического Английского клуба. После революции, когда этот клуб был предназначен к национализации, ни один из прочих старшин не пожелал или не отважился явиться для сдачи его приемной комиссии. Один Н. И. пришел и выполнил эту свою последнюю обязанность. Возможно, что и этот его шаг был зачтен ему в плюс властями.

Никогда не занимавшийся прежде никакой серьезной деятельностью, ни государственной. ни научной, ни, конечно, практической, ни в области искусства, Н. И., тем не менее, не производил впечатления пустого человека. В обращении же был очень приятен и совершенно безукоризненно воспитан. Литературой он стал интересоваться лишь постольку, поскольку это оказалось необходимым по его должности заведующего Тютчевским музеем и хранителя писем и рукописей своего деда, Баратынского, Вяземского, Жуковского, Гоголя и др. Но все это наследие занимало его гораздо больше в плане семейной хроники, чем в литературном. Когда я познакомился с Н. И. более близко, я научился воспринимать его самого по себе. Но первоначально я к нему подходил как к человеку, осененному благодатью родства с поэтом, имевшим для меня совсем особое значение, с поэтом, стихи которого приводили меня и до сих пор приводят в трепет, ни с чем не сравнимый. И я был просто потрясен, что никаких подобных чувств к нему не питал его внук. — Да, род Тютчевых — род хороший. Надеюсь, что и я его не посрамляю. Федор Иванович был камергером? — Я тоже. А некоторые из Тютчевых были и более сановны. Поэт? — Да, у нас вообще в роду многие писали стихи. — Конечно, прямо так Н. И. не говорил (кроме только того, что многие Тютчевы писали стихи), но такое отношение к деду явственно улавливалось при разговорах с ним.

Однако Н. И., несомненно дороживший своей родословной и честью своего рода, был не только чужд дворянской кичливости, но очень подсмеивался над теми, кто ее проявлял. Однажды где-то под Новым Иерусалимом, т. е. неподалеку от Муранова, на лето поселился А. Н. Северцов. Он свел знакомство с Тютчевыми, причем решил поставить свои отношения с ними на ногу соседей-помещиков, равных между собой и сознающих свое превосходство крови. Когда я в то лето посетил Мураново, Н. И. сказал мне с усмешкой: «Тут я познакомился с вашим Северцовым». Потом добавил, покачав головой: «Большой барин». Последние слова в устах родовитого аристократа означали: — ведь эти Северцовы из воронежских, мелкопоместных.

В числе предков Б. М. не было поэта Тютчева. Но это не мешало ему сознавать достоинство своего рода и стараться его поддерживать собственным поведением. Я то и дело совершаю отступления от своего прямого предмета. Может быть, то, что я рассказал сейчас о Н. И. Тютчеве, имеет слишком отдаленное отношение к портрету Б. М., который я пытаюсь дать. Но ведь все-таки имеет. А я с тем условием и принялся писать эти записки, что буду делать это вполне свободно, без всякой оглядки на чужой суд, а следуя только ходу своих мыслей и воспоминаний. Поэтому ради одного только жеста, уловленного мной у Б. М., я вновь отклоняюсь в сторону.

В двадцатых годах в Музее часто появлялся А. Г. Марконет. О нем мне было известно, что был он охотник, собачник и знаток охотничьего оружия. Так как ни в одном учреждении он не служил, то зарабатывал он или, по крайней мере, пополнял свой бюджет комиссионной деятельностью по продаже ружей. По образованию он был юристом. В прошлом — присяжный поверенный и достаточно богатый человек: владелец нескольких домов в Москве. И был он одним из виднейших московских деятелей Союза русского народа. Говорили, что его не один раз забирали в ЧК, но он там так откровенно излагал свои политические взгляды, которые и не думал изменять со времен расцвета деятельности д-ра Дубровина, что его выпускали как человека, явно не имеющего шансов привлечь на свою сторону кого бы то ни было. Большевиков он порицал за то, что они убили царя. Это он и говорил всегда, когда слышал от кого-нибудь жалобы на новые порядки. — «Да чего уж там, — царя убили». Впрочем, только это он и ставил им серьезно в вину. А за многое другое даже их одобрял. Особенно же за то, что они прижимали интеллигенцию. Ее, по мнению Марконета, нужно было вообще смести с лица земли. Он был уверен, что только она была виновницей революции, а народ в этом деле был совсем ни при чем. Да даже и большевики-то были не так уж виноваты. Смуту посеяли, конечно, жиды, углубляла ее интеллигенция, тоже насквозь жидовская, но самое страшное злодеяние совершили самые высокопоставленные сановники, пытавшиеся

ограничить влияние Распутина. Об одном своем разговоре с Марконетом на эту тему Б. М. рассказывал мне. —

«Что там эти ваши кадеты, большевики, октябристы! Во всем виноваты Джунковский, Родзянко, эта дура фрейлина Тютчева. Это они бунтовали против старца».

«Позвольте, голубчик, Распутин делал совершенно безобразные вещи. Кто бы ему ни покровительствовал, но есть такие дворянские роды (в этом месте рассказа Б. М. совершенно непроизвольно указал рукой себе в грудь), которые никогда не переносили бесчестия».

«А что он такого делал?»

«Как что? — А вы считаете допустимым, что он входил в спальню великих княжен и под видом благословения щупал их во время сна?»

«Подумаешь, что им, за..., от этого сделалось! Ведь зато старец только один и мог останавливать кровь наследнику».

В этом невольном жесте Б. М. сказалась со всей ясностью его дворянская гордость. Но она проявилась у него совсем не как у Северцова. И я уверен, что, если бы Н. И. Тютчев слышал эту тираду Б. М. в защиту своей сестры, то она не навела бы его на сопоставление своей генеалогии с житковской.

Не будучи фанатиком науки (т. е. не веря в ее всемогущество и не переоценивая своих возможностей продвигать ее по пути больших завоеваний), Б. М., кроме того, был до крайности равнодушен ко всяким почестям. Не будь этого, он, конечно, больше позаботился бы о том, чтобы оставить по себе монумент крепче меди. Быть может, его милая знакомая, по просьбе которой он измерил свою печатную продукцию, и поверила его хитрой басне о роковых обстоятельствах, ставших поперек его пути к славе. Но в действительности дело в том, что он вовсе и не стремился идти по этому пути, на котором всегда толкотня и давка. Для шествия по нему нужно, помимо необходимых деловых качеств, и даже больше, чем этими качествами, обладать способностью переносить толчки в бока, наступание на ноги и уметь самому хорошо работать локтями.

Нет двух людей, во всем одинаковых между собой. Но нет, по-видимому, и таких двух, у которых не было бы чего-то общего. Поэтому совсем безнадежное занятие искать себе друга, во всем согласного с тобой. По недомыслию каждый все же такого ищет, и всякая дружба начинается с того, что двум людям кажется, будто они взаимно нашли полных единомышленников. Но неизбежно в их взглядах и вкусах обнаруживается то или иное несходство. С обеих сторон возникает желание устранить его. Это дело кажется совсем простым. — Ведь человеку, с которым у тебя столько общего, легко можно объяснить его непонимание или заблуждение. Но на деле оказывается, что этого сделать нельзя. Каждый человек думает, чувствует и действует по-своему не потому, что его никто не научил думать, чувствовать и действовать иначе, а потому, что он так сделан, таким рожден. Не понимающие этого друзья

сначала спокойно представляют один другому аргументы в пользу своей точки зрения и спокойно выслушивают контраргументы. Но постепенно и незаметно для себя они впадают во власть беса полемики. Их рассуждения все больше сворачивают с пути законов логики и все больше подвергаются влиянию эмоций. Завершаются эти попытки полностью обратить друга в свою веру ссорой и горьким разочарованием. Эту истину я познал, к сожалению, далеко не в самые молодые годы, после того, как успел наговорить в ненужных спорах много всяких незаслуженных неприятностей многим своим приятелям и не меньше получить таковых от них по своему адресу. И тогда же я понял, что общение с друзьями должно быть основано только на том, что вас роднит, а не на том, что разделяет. Конечно, эти сферы родства могут быть более широкими и менее широкими, могут быть важными или пустяковыми. В зависимости от этого друзья имеют для тебя большую или меньшую ценность. Я почти ни в ком не нахожу понимания своей нелюбви к людской тесноте и давке, заставляющей меня избегать многолюдных зрелищ и путешествия в переполненных вагонах или автобусах. Вероятно, сродни этой нелюбви и отвращение ко всякого рода конкуренции. — Там и здесь нужно работать локтями.

И вот, у Б. М., как ни у кого другого, я встретил подобное же отношение к этим вещам. Я никак не хочу утверждать, что оно правильно и что эти свойства характера нужно пропагандировать и прививать их детям. Для меня важно только то, что это было мне у Б. М. понятно и до крайности близко, и это, быть может, было не последней причиной моей особой привязанности к нему.

Уже очень молодым человеком я заметил, какая борьба идет у нас в университете за всякие места, должности, лекционные часы и т. п. и как в соревновании за их получение мои добрые знакомые совершают поступки, которые, пока я к ним не привык и вообще не накопил немного жизненного опыта, заставляли меня задумываться, можно ли сохранять с ними дальнейшие отношения. И на этом фоне Б. М. резко отличался ото всех. Он не только никогда активно не добивался для себя никаких благ, но отказывался от них при малейшем подозрении, что на них претендует кто-то другой. Он ни в какой мере не был аскетом. Устройству своих материальных дел он уделял достаточное внимание и вполне в этом преуспевал. Он только не лез в давку. В дни его молодости возможности получения платной должности в университете были очень ограниченны. По своим способностям, а также по протекции своего патрона Тихомирова Б. М. вполне мог бы получить такую должность. Но на них были и другие претенденты. Поэтому Б. М., не порывая связи с университетом, стал искать заработков вне его. Какие это были заработки, — он рассказывает в своей автобиографии. И в мое время, когда он имел в университете достаточно твердое положение, университет все же не был единственным и главным источником его доходов.

В начале тридцатых годов, когда борьба за места и должности в университете была особенно остра, произошел один случай, который мне очень запомнился. Как-то

в верхнем коридоре Музея я встретил Б. М. Он улыбался и был в очень веселом настроении. Приобняв меня, как он это часто делал с собеседником на ходу, он меня повлек за собой по пути к своему кабинету.

«Что вы такой веселый, Борис Михайлович?»

«Да как же! Я только что сделал Борису Степановичу такую гадость».

Речь шла о Б. С. Матвееве. Я был крайне удивлен, что Б. М. мог вообще сделать кому-нибудь гадость. И не знал никаких причин, по которым он мог бы хотеть нагадить Матвееву.

«Что же вы ему сделали?»

«Да вот только что передал ему свою кафедру».

Любовь многих ученых к юбилеям и ко всяким торжественным оказиям была чужда Б. М. «Не могу понять, — говорил он, — как человек может добровольно слушать в течение нескольких часов неумеренные похвалы по своему адресу. Ну уж если юбилей нужен, чтобы определить тебе большую пенсию, эту неприятность еще можно перенести».

В этом отношении полным антиподом Б. М. был А. П. Семенов-Тян-Шанский. О нем следовало бы написать особо, но я пока сообщу лишь немногое, что связано с Б. М.

Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский кроме систематики насекомых интересовался и занимался очень разнообразными вещами, в том числе и латинской поэзией. Познакомившись с ним еще в свои ранние студенческие годы в Зоологическом музее Академии наук в Ленинграде (ныне ЗИН) как с самым большим знатоком жуков и автором одного теоретического сочинения по систематике, ценимого мной тогда очень высоко, я скоро сошелся с ним и на почве нашей общей любви к Горацию. Уже в то время любителей классической литературы было не так много, и собеседников о ней А. П., вероятно, не хватало. А он был жаден до всякой аудитории, особенно же до такой, со стороны которой мог рассчитывать только на полный успех и одобрение. Я же, познакомившись семнадцатилетним мальчишкой с автором «Таксономических границ вида», был на седьмом небе от счастья и гордости. А когда дело дошло до Горация, о котором мне было совсем не с кем поговорить (с Н. Д. Леоновым я тогда еще не был знаком), то я просто плавал в блаженстве. Я не мог не заметить, что А. П. необычайно падок на всякую похвалу. Но он был так обязателен по отношению ко мне (повторяю, — совершенному мальчишке), да и вообще по отношению ко всем, кто обращался к нему за советом или помощью по специальности, что я не считал особой подлостью кормить его конфетками лести, которые он съедал с таким видимым наслаждением. Ведь все-таки он был хороший человек, хотя и эгоист крайний.

Юбилеи А. П. обожал. Притом не только свои, но и чужие, которые ведь также давали ему возможность выступить и блеснуть красноречием. Но своих юбилеев

каких только он не выдумывал. — И просто более или менее круглые даты со дня рождения, и научной деятельности, и общественной, и литературной. А когда не предвиделось никакой собственной даты, то А. П. прибегал к биографии отца, также чрезвычайно богатой. Ведь папа, помимо того, что прожил почти сто лет, был и сенатором, и членом Государственного совета, и путешественником, и президентом (простым, а потом почетным) Географического и Энтомологического обществ, и деятелем овобождения крестьян, и организатором первой всероссийской переписи населения, и прочая, и прочая, и прочая. И каждая сторона его деятельности предоставляла возможность организовать и отпраздновать юбилей, на котором, ввиду отсутствия папаши, центральное место занимал сам А. П., хотя у него было еще два брата.

И вот однажды я получил от А. П. письмо, в котором он сообщал, что в скором времени «будет отмечаться» какой-то юбилей его деятельности на поприще изящной литературы. Литературу, особенно поэзию, он несомненно знал и любил, но не слишком новую. Сам писал стихи, пожалуй, не хуже Апухтина, а технически даже и более совершенные. Не останавливался даже перед сочинением дистихов, а сонеты были ему совсем нипочем. Писал даже венки сонетов. Из необходимой все же скромности лучшим из современных поэтов он называл Максимилиана Волошина. Но про себя был уверен, что это он сам.

Получив его письмо, я понял, что оно меня обязывает преподнести ему усиленную порцию сладенького. По поводу этого письма Б. М. и высказал свое отношение к юбилеям. Но одновременно просил меня написать в своем ответном письме, что он тоже высоко ценит литературную деятельность А. П., а кроме того вообще полон наилучших чувств к нему и глубочайшего уважения к заслугам и его самого, и его великого отца. Все это, помимо собственных подходящих комплиментов, я и изложил А. П. В ответ получил очень скоро другое письмо, в котором сообщалось, как будет протекать юбилей, а также выражались ответные чувства в отношении Б. М., которого-де А. П. очень помнит по встречам в доме папá, помогавшего ему в качестве президента Географического общества в снаряжении экспедиций на Ямал и на Канин.

Меня же осенило вдохновение. — В словах *Андрею Семенову* содержится 14 букв. Это навело меня на мысль написать сонет-акростих. Я это и сделал, изрядно помучившись. Получилось чудо версификации вполне в духе А. П. и вполне такая же дрянь, как и все подобные чудеса. Сочинив эти стихи, я все же сильно колебался посылать их по адресу. Уж слишком минимальны были их поэтические достоинства и слишком был восхвален юбиляр. Решил посоветоваться с Б. М. Он очень смеялся, но, зная А. П., счел стихи вполне для него подходящими. И тут ему пришла в голову мысль самому подшутить над А. П. Он решил, что пошлет ему свое собственное стихотворение, которое выдаст за перевод с латинского. Так он и сделал. В поздравительном письме юбиляру он написал, что сам очень любит латинскую поэзию, но, в отличие от А. П., он занимался больше поэтами не золотого века, а периода упадка

Рима, в частности, творениями некоего Кая Салюстия Квинта или Секста или еще чего-то в этом роде (я не помню в точности, как звали этого вымышленного поэта). «Перевод» одного его стихотворения Б. М. и посылал при своем письме. Вот он.

Проходя мостом над Тибром,
Нынче варвара я встретил.
Ухмыляясь на добычу,
Он тащил свиную ногу.
Я же нес домой под тогой
От писцов затибрских свитки
С переписанной искусно
«Апологией» Платона.
Молвил он: «Скажи, патриций,
Какова твоя удача?
Свежий корм какого сорта
Ты схватил в обжорной лавке?»
Я ответил: «Друг прохожий,
У меня под тогой пища
Та, что мудрого прокормит
Целый век до самой смерти».

Странно, что я никогда и не пытался подойти к этим стихам с обычной литературной меркой. И теперь тоже не задумываюсь над их поэтическими достоинствами. Читая их, я только вижу в строчках ту самую улыбку, которую привык видеть на лице их автора во время бесед с ним.

Через некоторое время после отсылки своего стихотворения Б. М. пришел ко мне с видом напроказившего и попавшегося мальчишки. — «Беда, голубчик. Андрей Петрович пишет, что перевод ему очень понравился, но он не может достаточно судить о нем, не зная оригинала. Пишет, что все же он немного знаком с латинской поэзией более позднего периода, но ничего не слыхал ни о каком Кае Салюстии, и просит сообщить о нем подробнее. Что же теперь делать?» — Не знаю, как выпутался Б. М. из этой истории.

Мой же сонет привел А. П. в совершенное восхищение. Я тотчас же получил от него восторженный отзыв о своем произведении с аттестатом на полное владение канонами сонета. В стихотворном обращении ко мне в несколько строк гекзаметра А. П. уведомлял, что он передает мне «факел немеркнущий», т. е., по-видимому, завещает мне свое место первого поэта России. А через некоторое время от него пришло письмо с описанием юбилея, на котором мой сонет, прочитанный каким-то весьма славным ленинградским актером, вызвал бурные аплодисменты. Эти письма доставили Б. М. не меньшее удовольствие, чем мне самому.

Заканчивая воспоминания о Б. М. и возвращаясь опять к занимавшему его самого вопросу о славе и широкой известности, я замечу, что, если они и не доста-

лись ему на долю, то с другой стороны решительно во всех кругах, в каких ему приходилось вращаться, он пользовался самым искренним и прочным уважением. Я уже говорил, с каким почтением к нему относились, например, шелководы. Точно так же совершали паломничество к нему все старые специалисты охоты и пушного промысла. Его земляки симбирцы особенно чтили его. Я помню, как однажды к нему приехал один пожилой алатырский лесник и передал ему просьбу тамошних охотников принять участие в медвежьей охоте. Берлогу обложили, а самое почетное место среди стрелков решили предоставить Б. М. Кажется, он это предложение принял.

В начальный период организации морского рыболовного флота в Архангельске была построена промысловая шхуна. Ее решили назвать «Борис Житков». Капитан судна обратился в письме к Б. М. с просьбой прислать свой портрет для помещения его в кают-компании. Тогда Б. М. попросил С. И. Огнева, который хорошо фотографировал и в то время особенно увлекался портретами, снять его так, чтобы он выглядел морским волком, но в то же время чтобы и женщинам мог нравиться. Портрет, действительно, очень удачный (тот, что висит у меня над письменным столом), был изготовлен и отправлен. Вскоре после этого Б. М. получил нечто вроде протокола производственного совещания или общего собрания экипажа шхуны, созванного по случаю водружения его портрета в кают-компании. Команда торжественно заверяла Б. М., что будет верно «хранить его заветы».

В 1926 году Б. М., ко всеобщему удивлению, женился. Удивил этот его шаг и меня. Его новая жена, И. Ю. Бартенева, была совсем молодая особа. Она, по-видимому, в то время только что окончила какой-то вуз, кажется, пушно-меховой. Собой была очень недурна, живая, энергичная. Воспитание получила хорошее. Знала языки. Во всяком случае, по-немецки говорила вполне свободно, в чем я мог убедиться, навестив Б. М., на его даче в обществе одного австрийского зоолога. Мне казалось, что происхождение из «хорошей семьи» и соответствующее воспитание только в какой-то мере и могли роднить ее с Б. М.

Обзаведшись семьей, Б. М., конечно, перестал быть моим постоянным вечерним соседом в Музее, хотя все же иногда он и приходил переночевать в своем кабинете. Мой житейский опыт в то время был очень невелик, но все же женитьба Б. М. на женщине, бывшей много моложе него, внушала некоторые опасения и мне. Они оказались обоснованными. Году в 1927 или 28 Б. М. вдруг сильно заболел. До того здоровье его было хорошее. Он, нужно думать, был крепок по природе. Болезнь Б. М. была какая-то странная. Не знаю даже, лежал ли он сколько-нибудь долго. Он продолжал приходить в университет. Только весь вид его стал каким-то

стариковским, а взгляд потускневшим и грустным. На расспросы о здоровье он отвечал только: «Плохо мне, плохо». Когда-то Б. М. рассказывал мне об одной своей тетке, которая внушила себе, что должна умереть, и действительно умерла. Я припомнил ему этот рассказ, желая сказать, что болезнь он внушает себе сам. — «Вы вот так и придумаете себе сами смерть, как ваша тетка». — «Да, да, голубчик, придумаю, непременно придумаю», — отвечал он грустно, кивая головой. Но потом как-то очень медленно Б. М. стал приходить в норму. Я его ни о чем не расспрашивал, но узнал от кого-то, что с Ириной Юрьевной он разошелся. Вероятно, этот поздний брак дорого обошелся Б. М. Здравый рассудок, столь присущий Б. М., нужно думать, помог ему оценить свое положение и найти из него выход. В последние годы, что я его помню, он был вполне таким же, каким я привык видеть его прежде. Но в 1935 году я исчез из университета и до самой его смерти уже никакого общения с ним не имел.

Умер Б. М., кажется, в первый же год войны. Не знаю, где находились в то время его дочери. Но в Москве он был одинок. К счастью, один из его учеников, Д. М. Вяжлинский, взял на себя заботу о нем и не оставлял его до дня смерти.

Музейские служителя

Теперь в лабораториях и при кафедрах нет должности, вполне соответствующей той, которая прежде называлась лабораторный служитель. На обязанности служителя лежала уборка всех помещений, но кроме того он прислуживал на лекциях, производил всякие мелкие закупки, играл роль рассыльного и выполнял разнообразные другие поручения. Большая же часть его времени уходила на занятие, ближе всего напоминающее вахтерское, т. е. он дежурил, сидя где-нибудь в коридоре, обычно поблизости от телефонного аппарата. Во время различных заседаний служителя дежурили при вешалках, выполняя, таким образом, также и обязанности швейцара.

В дореволюционном университете служителя занимали свои должности обычно очень подолгу. Нередко за время их службы сменялись целые поколения профессоров, возглавлявших кафедры. Служитель был хорошо известной и заметной фигурой на кафедре. Студенты, во всяком случае, относились к служителям с достаточным почтением и даже порой заискивали перед ними, так как от них можно было выведать некоторые существенные сведения о профессоре: у себя ли он, и если нет, то когда намеревается быть, в каком он настроении (важно при сдаче экзамена) и многое другое.

Служителя были тогда народ степенный. Мальчишек на эту должность не брали. Да и вообще в такое солидное учреждение, как университет, не брали людей с улицы.

Нужны были рекомендации или протекция. Ее профессора иногда оказывали кому-нибудь из своей или своих знакомых мужской прислуги. Военная выправка и лексикон довольно многих служителей свидетельствовали о том, что за их плечами была солдатская служба.

Таких старых служителей я застал при поступлении в университет почти во всех лабораториях нашего факультета, в которых мне приходилось бывать. Потом они один за другим выбывали. У нас в Зоологическом музее таких было два.

Герасим Батушин был в Музее не исконным. Его к нам перевели, кажется, в 1920 году с бывшего историко-филологического факультета, где он служил много лет. Он был уже очень стар, но несмотря на свой возраст, держался прямо и сохранял следы солдатской выправки. И усы у него тоже были большие, солдатские, а бороду он брил. Был заметно глуховат. Служить ему было уже явно тяжело. С утра он еще двигался и, кряхтя, производил уборку. А потом усаживался на стуле в коридоре возле телефонной будки и дремал.

Герасим был не очень общителен, и потому я почти ничего не могу рассказать о нем. Но все же кое-какие отношения у меня с ним завязались. Заметив некоторое внимание к себе с моей стороны, он стал иногда кое-что рассказывать мне о профессорах-филологах, при которых он служил. Особенно охотно вспоминал профессора богословия протоиерея Боголюбского, отца и ныне живущего зоолога С. Н. Боголюбского. Впрочем, не лекции его, а великолепные проповеди в университетской церкви. А от более старых времен у него остались воспоминания о В. О. Ключевском. Герасим рассказывал мне, что на лекциях знаменитого историка перед ним на кафедре ставился полный графин, как все думали, с водой. Время от времени он наливал из графина и стакан за стаканом опорожнял его содержимое. Им, однако, была не вода, а водка. На чтении лекции это подкрепление, по словам Герасима, никак не отражалось. Но, выходя из аудитории, Ключевский придерживался за стену.

Герасим пробыл при мне в университете недолго: что-то год или два. А потом помер.

Другим старым служителем был Фрол. Сейчас не могу припомнить его фамилию. Да ее мало кто и знал. А имя было очень известно, уже хотя бы по анекдотам, рассказываемым о Г. А. Кожевникове. При мне Фрол появился после смерти Герасима. Где он находился до этого времени, я не знаю. Но его появление в Музее было вторичным. Он служил в нем еще до революции. Сам по себе Фрол был мало интересен и особой симпатии не возбуждал. Он был упрям, брюзглив и немного придурковат. Прибираясь, он обычно что-то ворчал себе под нос. Иногда в этом ворчании можно было разобрать недовольство, высказываемое по адресу начальства, в частности, Г. А. Отвечая на реприманды последнего, Фрол порой и огрызался.

История же первого появления Фрола в Музее была такова. — До того он служил лакеем у А. А. Тихомирова. Тот, как известно, поддерживал связи с духовенством,

и однажды его посетил архиерей. А на другой день к нему пришел в гости какой-то генерал или соответствующего звания гражданский чин. Раздевши его в передней, Фрол похлопал его по плечу и заявил: «А у нас вчерась архиерей был». Генерал пожаловался на это хозяину, и Тихомиров уволил Фрола, но устроил его на службу в Зоологический музей.

Карьера Владимира Никулочкина начиналась вполне типично для университетского служителя. Он, кажется, был контужен на войне и в первые годы революции устроился плотником, а также исполнителем разных других работ на Измайловской опытной пасеке, которой заведовал и на которой жил летом Г. А. Кожевников. Тихого и скромного, да к тому же контуженного парня пригрела прислуга Кожевниковых Ирина, уже немолодая, некрасивая и не имевшая никаких шансов устроить свою семейную жизнь. Свой фактический брак с Владимиром она, кажется, не оформила, но он утвердился у нее в мужьях вполне прочно. Хозяева Ирины этот брак признали и не возражали против водворения на зиму Владимира в комнате Ирины при кухне. А затем Г. А. устроил его на должность служителя в Музее.

Роста Владимир был небольшого. По внешности мало приметен. Лицом очень бледен, с какой-то болезненной желтизной. Бороду брил, а носил небольшие усики. Поведения был самого тихого. Распоряжения, особенно Г. А., выслушивал, вытянувшись во фрунт и держа руки по швам. Отвечал на все по-солдатски: «Слушаюсь», «Так точно», «Никак нет», «Не могу знать». На фоне распространявшихся повсюду и начавших проникать в университет новых обычаев и более свободных отношений между людьми разного общественного положения поведение Владимира, по его возрасту, составляло редкое исключение. Свою почтительность к начальству он распространял и на нас, студентов-специалистов. Мы, давая ему иногда поручения самого частного характера, оплачивали их традиционным старым способом, — давали ему на чай. И эти деньги он охотно принимал. Со мной, как с постоянным жильцом Музея, Владимир имел больше дела, чем с другими. Я чаще прочих давал ему всякие поручения, выполнение которых приносило ему некоторую выгоду. Поэтому и почтительность его ко мне была несколько повышенной, хотя и со всем вообще старшим и младшим персоналом Музея он был вежлив и для всех услужлив. На новый год и на Рождество Владимир являлся ко мне с поздравлениями. На Пасху, конечно, тоже приходил и христосовался. При всей своей тогдашней бедности я для этих случаев припасал некоторые суммы для вручения ему (и другим служителям), как это было принято в отношении прислуги и низшего служебного персонала во времена моего детства. Несоответствие такого поведения Владимира (и моего) с новыми порядками я хорошо понимал. Но я никогда не чувствовал призвания к воспитательной работе. А моральность или неморальность давания на чай и всякой другой подобной мзды, по-моему, целиком зависит от того, насколько оно приятно или неприятно получающему. Если в результате социалистического воспитания решительно все мои сограждане приобретут отвращение к таким подачкам, я никогда не стану оскорблять их чаевыми. Но покамест они оскорбляются далеко не все. И я считаю важным для себя только определить для каждого данного случая, обижу ли я своим действием человека или, наоборот, — доставлю ему приятность. В зависимости от этого и поступаю. Даже и теперь, почти на пятидесятом году революции. А уж в те-то годы и тем более. Вообще же, если и не так рано, то все же и не на склоне лет, я убедился, что друзья, покупаемые за деньги, вряд ли многим уступают тем, которые приобретаются другими способами. Во всяком случае могу сказать, что такого благожелательства к себе и такой заботы о моих выгодах и удобствах, какую проявляли в свое время за относительно небольшое денежное вознаграждение носильщики на вокзале в Тифлисе, я, пожалуй, не встречал со стороны ближайших моих не купленных друзей.

Таким образом, поведение Владимира было вполне подобающим для университетского служителя доброго старого времени. Не только на службе, но и дома он был тих и скромен. Не пил, не курил, не шумел и был во всем послушен Ирине и ее хозяевам. И трудно было даже представить, чтобы этот скромный и ушибленный, даже и в прямом смысле (контузия), человек мог вести себя как-либо иначе.

Но души праведников всегда представляют соблазн для дьявола. Он изощряется в поисках путей погубить их. И самое трудное для него дело это — зацепиться за что-нибудь для начала. А у Владимира такую зацепку найти было очень трудно. И все-таки она нашлась. И с той стороны, с какой ее трудней всего было ожидать. А именно — со стороны его любви к церковному пению. Он не только любил его слушать, но и сам пел в хоре Георгиевской церкви, стоявшей на Моховой, на том месте, где теперь возвышается ложно-ренессансный дом, построенный Жолтовским. После приспособления под клуб церкви св. Татьяны, составлявшей часть так называемого нового здания университета, Георгиевская церковь стала играть роль университетской. Старостой ее был профессор Л. М. Кречетович. Ее усердными прихожанами из известных мне профессоров были И. Ф. Огнев, А. П. Павлов и А. А. Борзов. Последние двое, обладавшие хорошими голосами, постоянно подпевали во время богослужения. Где же и Владимиру было петь, как не в хоре у св. Георгия. Конечно, университетские общественные деятели не могли не знать об этом. И с этой-то стороны и была поведена атака. Притом осторожно и тактично. Владимира не отговаривали от участия в церковной службе. — Пусть он себе там продолжает петь. Но почему бы ему не петь и в другом месте? Почему бы не записаться в хоровой кружок при университетском клубе? Недостатка в досуге у Владимира не было, а потому не было резона и отказаться от этого предложения. Таким способом он впервые приобщился к «общественной работе». Остальное же было только делом времени.

И времени довольно долгого. Постепенно церковное пение отходило на второй план, а потом и совсем кончилось, так как и петь-то стало негде: церковь снесли.

А пение месткомовское, наоборот, усиливалось. Завязывались новые связи. Владимир постепенно входил в круг деятелей, занимавших хоть и не очень видные служебные посты, но приобретавших все большее значение в жизни университета. Эта хорошо нам всем известная и существующая во всех учреждениях прослойка состоит из сотрудников, образование, знания и способности которых достаточно скромны, но, в противоположность этому, желание играть роль и извлекать выгоды из своего положения сильно гипертрофировано. Прослойка эта зашифрована под кодовым обозначением «общественность». В ней имеется своя иерархия. Низшую ее ступень составляют рядовые члены всевозможных кружков, состоящих при месткоме или при клубе. С этой ступени и начал свою общественную карьеру Владимир. Первым его продвижением было вступление на пост профорга Зоологического музея. Когда Музей отделился от кафедры и стал самостоятельным учреждением, Владимир, само собой, стал членом его месткома. Затем председателем. Затем он вошел в состав общеуниверситетского месткома. А это было уже высокое положение в «общественной» иерархии. В какой-то момент продвижения по профсоюзной лестнице Владимир вступил в партию. Началась карьера партийная. И вот его выдвинули и, конечно, избрали в члены райсовета.

Года до 1930 или 31 отчество Владимира Никулочкина мне, например, не было известно. Но тут выяснилось, что он Александрович. Все чаще слышалось, что его называют по имени и отчеству полностью. Для нас, научного персонала, возникла проблема: как нам надлежит именовать его впредь? Сначала стали называть его Владимиром Александровичем только публично, сохраняя форму обращения к нему наедине по-старому — Владимир. Потом наступило время, когда называть его так стало невозможно уже ни при каких обстоятельствах. Не помню, как он продвинулся по служебной линии. Во всяком случае, он уже не был лабораторным служителем. Да и сама эта должность с какого-то времени была упразднена. — Появились вахтеры, швейцары, уборщицы, препараторы, завхозы, коменданты. Какую-то из последних должностей и занял товарищ Никулочкин. Впрочем, это значения уже не имело. — Работы в Музее он все равно не выполнял никакой. Он заседал, циркулировал между месткомом, райсоветом и всеми университетскими учреждениями, а когда бывал в Музее, то проводил какие-то таинственные беседы с глазу на глаз с различными личностями, частью смутно известными мне в лицо по встречам на университетском дворе, в канцеляриях, в вестибюлях и в коридорах институтов, а чаще и совсем неизвестными, но всегда замолкавшими при моем приближении и косившимся на меня.

Все люди устроены одинаково. Старые жены перестают отвечать возросшим духовным запросам не только генералов и академиков, но и других людей, поднявшихся на достаточную высоту. Так случилось и с Владимиром. Достигнув известных степеней в партийно-общественной иерархии и приобретя возможность оказывать протекцию, он водворил к нам на должность уборщицы довольно видную собой

розовощекую девку с широкими бедрами и могучим бюстом. Через некоторое время выяснилось, что она не больше и не меньше как новая мадам Никулочкина. Старую свою Ирину Владимир выгнал взашей.

О дальнейшей карьере и судьбе Владимира после моего исчезновения из университета я не знаю ничего. Не знаю, жив ли он или когда-то за это время помер.

Марфа Печкина никак не типична для категории старых и даже более новых университетских служителей, и я пишу о ней не для продолжения начатого ряда, а просто как об одной из фигур Зоологического музея.

В один прекрасный день начала 1921 года место у телефонной будки, на котором я привык видеть почтенного Герасима или почтительного и мало заметного Владимира, оказалось занятым небольшого роста бабой с вострыми темными глазами, необычайно краснощекой и в ярком цветастом платке. Трудно было предположить, что это новый служитель. Тип служителя был уже достаточно мне известен не только по одному Музею, но и по другим университетским кафедрам. Я подумал, что это какая-то посыльная, ожидающая ответа на принесенное кому-то письмо, или жена одного из наших низших служащих, пришедшая к нему по какому-либо экстренному домашнему делу. Но цветастая особа никуда не уходила. Потом я увидал ее в обществе хозяйственного ассистента, Э. Е. Беккера, что-то показывавшего и объяснявшего ей. Я осведомился у него, кто эта женщина. Эрнест Егорыч, точно извиняясь и разводя руками, сказал, что вот, мол, прислали такую на должность служителя. В тоне его объяснения ясно слышалась горькая ирония и становящаяся в то время уже привычной покорность новым порядкам, заводимым большевиками. Порядкам, в результате которых университет, несомненно, в очень скором времени должен погибнуть. После такого объяснения можно было только почесать в затылке, произнеся при этом: да-а!

Новую служительницу Э. Е. называл Марфушей. Я тоже стал обращаться к ней так. Григ. Ал. звал ее Марфа и, конечно, говорил ей «ты».

Вступивши в должность, Марфа, как ей и полагалось, начала орудовать щеткой, тряпками и мусорным совком, но совсем не с той степенностью, какую при этом проявляли старые служителя. Она оказалась голосистой. Очень быстро освоилась с кругом своих собратий из низшего персонала, к которым не проявляла ни малейшего почтения и с которыми громко ругалась. Доверия к себе она не внушала никакого. Эрнест Егорыч предупредил, что она — элемент ненадежный и что теперь в лабораториях нельзя оставлять ценные вещи не запертыми, как это было принято до сих пор. Да я и сам почему-то нисколько не сомневался, что Марфа взялась с Хитрова рынка и что она не может не обокрасть Музей и не сбежать после этого. В довершение всего через некоторое время Беккер конфиденциально сообщил мне, что у Марфы сифилис. — Она предъявляла ему какие-то справки из венерологической лечебницы. Это уже было совсем ужасно. Хотя я и не собирался вступить с Марфой в интимные отношения и даже не предвидел возможности пить

из общей с ней чашки, все же весть, что она больна такой страшной болезнью, вызвала у меня, как, вероятно, у самого Э. Е. (хотя мне было только 18 лет, а ему около пятидесяти), — содрогание.

Но ко всяким ужасам в конце концов привыкаешь. Приходилось мириться с присутствием в Музее опасной воровки, да еще и носящей в себе страшную для всех окружающих заразу.

Между тем время шло, а никаких жалоб на исчезновение из лабораторий микроскопов не поступало. Не пропала ни у кого шуба и даже ничьи калоши не исчезли. Статистика венерических заболеваний по сравнению с домарфинским периодом существенно не изменилась. Я имел возможность убедиться, что Марфа совсем не так уж плохо прибирается в лаборатории, т. е. стирает пыль только там, где нет возможности перепутать готовящиеся препараты, берет для мытья только заведомо грязную посуду, не выбрасывает ничего нужного. Уже очень скоро после своего поступления она стала сообщать, что меня в мое отсутствие спрашивал такой-то и велел передать то-то. Какое-то пустяковое мое поручение она выполнила быстро и точно. Затем другое, третье. Когда приблизился очередной праздник, я не без удивления для себя мог констатировать, что Марфа имеет ничуть не меньшее право на «наградные», чем Владимир, и уж заведомо больше заслуживает их, чем Фрол.

Шокировало только шумное поведение Марфы. Устраиваемые ею перебранки с другими служителями и со столяром как-то не гармонировали с еще державшимся университетским декорумом. Но эти перебранки были еще туда-сюда. — Марфа безобразно кричала и на студентов. Не на нас, постоянно работавших в Музее — с нами она была вполне вежлива, — а на приходивших на лекции или на практические занятия и толпившихся в коридорах и перед аудиториями рядовых студентов, большею частью поступивших на наш факультет из-за недостатка мест на медицинском, живущих надеждой как-нибудь перейти туда и потому называвшихся у нас криптомедиками. Их было очень много и почти исключительно девиц. И действительно, галдели они иногда невыносимо. А бывало еще, что две-три криптомедички притаскивали с собой из анатомического театра руку или ногу трупа и устраивались где-нибудь в укромном уголке препарировать мышцы, нервы или сосуды. С ними Марфа и воевала. Она не пускала их в коридор, пока не освобождалась комната для практических занятий, на которые они пришли, и утихомиривала, когда они шумели перед аудиториями, в которых шли лекции. В сущности, она была права. Но форма!.. — «Девки, девки! Да куды же вы поперли!» или: «Девки, да что вам тут, толкучка что ли?» Я раз или два пытался ей объяснить, что так со студентами все же разговаривать не годится. Но Марфа уверяла, что с ними иначе нельзя. И должен сказать, что «девки», по-видимому, не очень обижались на Марфу, не вступали с ней в пререкания, а уходили, откуда она их гнала, или прекращали галдеж и никогда не обращались с жалобами на ее грубость.

Со временем стало даже как-то странно, как можно было подозревать Марфу в чем-то неблаговидном и как могло казаться, что она не гармонирует с Музеем. Она стала необходимой частью музейского ландшафта. Если прежде ее громкие перепалки с тем и с другим из служителей или со студентами казались диссонирующими со строгостью храма науки, то потом всем (во всяком случае, мне) они стали привычными, и без них Музей был не Музей. Про себя могу сказать, что мне без Марфы положительно чего-то не хватало. Первая улыбающаяся мне физиономия, встречаемая утром, была Марфина. Всякие новости, хорошие или дурные (но никогда не сплетни), сообщала мне также она. — «Борис Сергеич, в сравнительной (Институт сравнительной анатомии) ночью опять акварь протек. Всю практику (комнату практических занятий у нас в нижнем коридоре) затопило». Или: «А беглая колхозница (старушка-украинка, бежавшая от коллективизации и от голода и приютившаяся без всяких прав за вешалками в вестибюле Музея) у нас так и живет. Помогает прибираться. Если не выгонят, может, до весны и проживет».

Григ. Ал. при появлении Марфы в Музее был оскорблен ее неакадемическим видом и поведением, пожалуй, не меньше Беккера. Только он, по старой манере обращаться с низшим персоналом, с ней не церемонился. Распекал ее за всякие упущения и громко на нее кричал. Однако она довольно скоро начала вступать с ним в пререкания. Утром, например, слышатся многократные взывания Г. А.: «Марфа! Марфа!» Потом:

«Марфа, это черт знает что такое! Полчаса тебя зову. Куда ты задевалась?»

«Как куда? Тут я и есть. Небось не брошу заметать середь лестницы».

Подобные диалоги, обычные по утрам, так вошли в повседневный распорядок, что стало казаться, будто без них музейский день не имел бы нормального течения. А главное, оказалось, что Марфы как раз и не хватало для составления пары Г. А. Чем был бы Пат без Паташона или Дон Кихот без Санчо Пансы? Как Г. А. ни распекал Марфу и как она ни огрызалась, в их взаимоотношениях никогда не было ничего неприязненного. Марфа не только подметала полы в Музее, но научилась делать все, что полагалось делать служителю. Я уже писал, что она принимала участие в оснащении лекций демонстрационными материалами и каким-то непонятным мне способом навострилась различать подразделения животного царства.

Что же до меня, то чем дольше длилось мое знакомство с Марфой, тем более необходимой она мне становилась. Я был убежден, что убирать у меня в комнате и на столе не может никто, кроме нее. Долгий опыт показал, что полагаться на нее я мог полностью во всем. Без боязни разглашения тайны я мог сказать ей: «Марфуша, в шкафу опять много бутылок. Нужно бы...» И я знал, что бутылки из-под всяких напитков будут без шума вынесены и определены куда следует. Что там бутылки! — Марфа была в курсе моих знакомств по дамской линии. И я не раз просил ее, на случай телефонных звонков с этой стороны, сообщать, глядя по обсто-

ятельствам, истинные или ложные сведения о моем местопребывании или распорядке дня.

Несоответствие габитуса Марфы старому стандарту университетского лабораторного служителя было для нас явным признаком, что она — красная. Она была воспринята как первая ласточка в кампании подрыва священных устоев. И мы ждали, когда она начнет свою подрывную деятельность. Но прошла неделя, месяц, год, а Марфа не приступала к формированию у нас штурмовых отрядов. Не навещали ее никакие таинственные личности. Не поступало от нее жалоб и доносов на нас в университетские общественные организации. Из ее очень громких и откровенных высказываний во время ругани со своими коллегами никак не вытекало, что ее идеологический и политический уровень находится на должной высоте. Скорее наоборот. А когда начались первые посадки, ссылки, вредительские процессы и коллективизация, то политическая ориентация Марфы выявилась достаточно ясно. И она оказалась совсем не той, какая от нее в свое время ожидалась.

Времена сильно ухудшались с каждым годом. Когда они стали уже вполне серьезно мерзки (кажется, что-то в конце 1934 года), Марфа, сильно взволнованная и бледная, пришла ко мне и сообщила, что ее увольняют. Пообещав ей заступиться за нее перед начальством, я сказал ей, что она сама немало виновата в навалившейся на нее беде. Нужно сдерживать свой язык, не ругаться со всеми, не возбуждать народ против себя. Она выслушала мои упреки и сказала: «Ох, нет, Борис Сергеич. Это — политическое» (она выговорила «полититеское»). Хотя это и звучало немного комично, я почувствовал, что Марфа права. И мне стало очень тоскливо.

Я пошел к деканше. Она меня немного успокоила, сказав, что Марфу не увольняют, а переводят на такую же должность в Географический институт. При этом многозначительно добавила:

«Вы знаете, иногда бывает нехорошо, когда человек слишком долго засиживается на одном месте. Понимаете, что может быть *полезным* перевести его на другое».

Я все понял. Дело, действительно, было «политическое». Марфу нужно было убрать из Музея, чтобы водворить на ее место лицо, сведущее не столько в уборке лабораторий, сколько в сборе и передаче информации об их сотрудниках. В частности, обо мне.

После весны 1935 года я появился в первый раз в Москве (незаконно) в 1947. В одно из посещений Зоологического музея я стоял в вестибюле и с кем-то разговаривал. Кругом было очень людно и шумно. Студенты расходились с лекций и шли на них. Галдели какие-то школьные экскурсии. Вдруг я слышу возглас: «Борис Сергеич!» — Ко мне сквозь давку протискивалась напролом Марфуша! Она заметно постарела, но я узнал ее сразу. Она услыхала от кого-то, что я приехал в Москву. Пришла в Музей, чтобы узнать, где меня можно встретить. И вот, прямо на меня и натолкнулась. Не помню, с кем я тогда стоял в вестибюле. Кто бы он ни был, разговор с Марфой был для меня важней. Не каждый из моих старых друзей проявил такую радость при встрече после этой разлуки. После этого случая я еще два раза встречал Марфу в университете, пока он стоял на старом месте. Мы не беседовали с ней подолгу. Но удивительно, как и почему возникает взаимное понимание между совсем ни в чем не сходными людьми.

Н. Д. Леонов

Не знаю, со всеми ли так бывает, но про себя я могу сказать, что из встреченных мною в жизни людей наибольшее для меня значение имели не самые выдающиеся из них. От таких остались яркие воспоминания, восхищение их талантом. Но для себя я от них получил меньше, чем от некоторых менее заметно и громко прошедших по жизни. Вероятно, это закономерно. Люди большого и определенно выраженного таланта бывают целиком поглощены своей деятельностью. Все остальное существует для них лишь в той мере, в какой оно этой деятельности содействует или мешает. Также и всякий собеседник их интересует не сам по себе, а лишь, если употребить современную терминологию, как источник нужной им информации. Сильно утрируя, можно сказать, что для таких людей нет глубокого различия между человеком и вещью, хотя, конечно, многие из них способны проявлять к отдельным людям настоящую привязанность.

Я встречал в жизни очень одаренных людей и с некоторыми из них дружил. Но если я от них что-либо и получил, то немногим больше того, что заключалось в их произведениях (художественных или научных). Этого, конечно, не мало. Но это можно было бы получить и без непосредственного общения с ними. А следовательно, если бы я их не встретил, то моя жизнь сложилась бы приблизительно так же, как она складывалась с их личным участием.

Но есть несколько человек, общение с которыми так явно сказалось на мне, что я — справедливо это или нет — думаю, что, не встреть я их, я был бы во многом другой.

Один из таких людей — Николай Дмитриевич Леонов. Происходил он из Воронежа, где его отец был земским врачом. Незадолго до войны он поступил в Московский университет. Кажется, не окончил его. Специализировался по физиологии растений у Ф. Н. Крашенинникова. Но интересовался далеко не этим одним предметом, а разными разделами ботаники, зоологии, но также химии, физики, математики, геологии, палеонтологии, географии, истории, философии, лингвистики и всеми областями искусства, кроме музыки, которую не воспринимал. Проявлял большой интерес к политике, хотя активного участия в ней не принимал.

Организации Ташкентского (ныне Среднеазиатского) университета сильно способствовали разруха и голод первых лет революции, царившие в Москве. Спасаясь от них, многие университетские работники перекочевали в благополучный и сытый Ташкент. Вероятно, по этой причине, демобилизовавшись (а может быть, и дезертировавши) из армии, уехал туда и Леонов. Там он поступил ассистентом на кафедру физиологии растений, которую возглавлял также москвич А. В. Благовещенский.

До нэпа железные дороги работали крайне плохо. Любое путешествие по ним было трудным предприятием. Поэтому никто по своим личным делам без самой крайней необходимости никуда не ездил. А борьба с трудностями жизни — голодом, холодом и эпидемиями — поглощала всех настолько, что люди не поддерживали связей ни с кем, кроме ближайших родственников. Обосновавшись в Ташкенте, Леонов тем самым пропал без вести для своих московских товарищей.

Несмотря на уже довольно длительное существование Среднеазиатской железной дороги, до революции Средняя Азия или, как ее тогда называли, Туркестан был для жителя средней полосы России страной вполне экзотической. Поездка туда представлялась любопытной каждому. Особенно же интересен Туркестан был для натуралистов. В музеях хранились коллекции животных и гербарии, собранные Пржевальским, Федченко, Семеновым-Тян-Шанским, Грумом-Гржимайло и другими, как их тогда называли, путешественниками. Их сборы представляли совершенно особый растительный и животный мир и возбуждали у всякого зоолога или ботаника-систематика желание посмотреть всю эту экзотику в натуре и, конечно, найти новые виды этой лишь предварительно обследованной флоры и фауны. К тому же, мир за пределами нашей страны после революции был закрыт для нас полностью. Никто не мог мечтать о путешествии в тропики и вообще на другие континенты. Поездка в Туркестан была пределом наших мечтаний. И нам не терпелось поехать туда. Уже в конце 1920 года наша энтомологическая компания, возглавляемая Е. С. Смирновым, начала проектировать путешествие в Туркестан.

Практическое осуществление какого-либо предприятия в те годы, как, впрочем, и теперь, было трудным. Но принципиально тогда не было ничего невозможного. Добиваться чего угодно мог каждый. Авторитеты тогда особенно не ценились. Даже, пожалуй, наоборот. Любой мальчишка мог явиться с самым смелым проектом в соответствующий наркомат, и там его предложение рассматривалось вполне серьезно. Успешное продвижение его больше всего зависело от настойчивости автора. На осуществление самых безумных затей в голодной и разоренной стране каким-то чудом находились средства. Организаторам их выдавались мандаты на получение всего необходимого со всяких складов и из всяких фондов. Прежде же всего улаживался вопрос о продовольственных пайках для участников нового предприятия.

Хорошо зная такое положение, мы особенно не ломали голову над тем, откуда и как добыть средства на нашу «Первую туркестанскую экспедицию Зоологического

музея Московского государственного университета». Гораздо более серьезной задачей нам представлялась разработка маршрута и планов работы, а также решение вопроса о средствах транспорта на месте. На основе ознакомления с довольно мелкомасштабной картой «Российских среднеазиатских владений» относительно скоро мы пришли к соглашению, что наибольший интерес для нас представило бы южное Семиречье (теперешний киргизский Тянь-Шань). Маршрут также был выбран без особо длительных пререканий. Карта была довольно старая. Линии железных дорог на ней были нанесены не все существовавшие к данному моменту. Населенные пункты обозначены немногие и не всегда наиболее важные. Поэтому, не будучи нисколько знакомы с выбранным районом путешествия, мы вполне могли считать его почти не населенным, что, конечно, сообщало ему особую привлекательность. Нам было ясно, что передвигаться по нему можно было исключительно верхом (тоже прекрасно!), а багаж везти только на верблюдах. С 1920 года я забыл множество всяких важных событий и фактов. Но маршрут «1-ой туркестанской» помню очень твердо. — Вот он: Аулие-Ата (ныне Джамбул) — Пишпек (ныне Фрунзе) — Токмак — Кок-муинак (такое обозначение было на карте где-то на запад или на юго-запад от Иссык-куля, но относилось оно, вероятно, к какому-то аулу или урочищу, а не к сколько-нибудь крупному селению) — укрепление Нарынское (ныне Нарын). Звучание этих названий приводило нас в восторг.

Наше путешествие не состоялось по совершенно пустяковой причине. — Мы не смогли договориться относительно потребного количества верблюдов. Дебаты по этому вопросу были очень страстны. В ходе их участники экспедиции допускали взаимные колкости. Кретинизм или скверный характер некоторых из них стали столь очевидными для некоторых других, что дальнейшее совместное обсуждение проекта сделалось невозможным. И он был оставлен.

Но сама идея поездки в Среднюю Азию осталась. Уже через полтора года после бурных споров о плане грандиозной экспедиции стало возможным просто купить билет до Ташкента и добраться до него по железной дороге без всяких наркоматских мандатов. Это снизило романтику предприятия, но сильно увеличило его доступность. И вот в начале лета 1922 г. Е. С. Смирнов и Б. Б. Родендорф отправились в Ташкент. Там они нашли приют на Туркестанской энтомологической станции. Директор этой станции, В. И. Плотников, принял их очень радушно и помог им совершить поездку в Самарканд и в Закаспий (Туркмению). Они вернулись осенью в Москву, привезя с собой собранных насекомых, а главное — заручившись приглашением на будущий год. И не только для себя, но еще для 4—5 энтомологов, согласных работать в саранчевых экспедициях или собирать материалы для энтомологической станции. Рассказам об удивительных краях не было конца. И очень много Е. С. и Б. Б. рассказывали о встреченном ими в Ташкенте Леонове, которого Е. С. знал раньше по Московскому университету.

На следующий год в начале апреля в Ташкент отправилась уже большая компания, в которую вошел и я. Плотников предложил мне поехать для сбора интересовавших его саранчевых в Семиречье — в Верный (ныне Алмата), Пржевальск, Нарын, т. е. даже больше, чем намечалось когда-то нашим лопнувшим проектом. Только, конечно, без верблюдов. До отъезда в Семиречье я почти целый месяц провел в Ташкенте. Тогда и познакомился с Н. Д. Леоновым. Его в первый же день привел на Станцию, где мы все расположились, Е. С. Смирнов.

Н. Д. был среднего роста и сухощавый. Его лицо было правильно и даже красиво. Особенно был хорош его высокий лоб. Н. Д. был темный шатен, носил усы и бороду, которые не подстригал, а крупно вьющиеся волосы никак не причесывал и стриг тоже редко. Руки его были небольшие, узкие, с тонкими пальцами. Одет он был... Но, пожалуй, правильней всего было бы сказать, что он никак не был одет. То, что на нем было, как-то его покрывало и защищало от непогоды, но это никак нельзя было назвать костюмом. Носил он какую-то блузу вроде толстовки, а иногда рубашку с сильно помятым и торчащим углами вверх воротом, порой перевязанным каким-то подобием галстука. Сверх рубашки надевал совершенно обвислый и помятый пиджак. Штаны были лишены всякой формы, иногда чрезмерно короткие, а иногда слишком длинные. На ногах — огромные, всегда больше нормального его размера, башмаки на босую ногу. На голове — бесформенная кепка, а иногда только собственная прекрасная шевелюра. Вся эта одежда была мятая и грязная. Лицо, руки и, увы, ноги также свидетельствовали об отсутствии у Н. Д. особой любви к воде и мылу. Несмотря на все это неряшество, я находил внешность Н. Д. очень приятной. Мне хотелось только, чтобы его голос был несколько более низким.

Как я сказал, Н. Д. состоял ассистентом университетской кафедры физиологии растений. Свою официальную специальность он любил и служебные свои обязанности так или иначе выполнял. Но нельзя сказать, чтобы он был очень ими поглощен. Н. Д. был чрезвычайно деятелен. Но его деятельность никогда не заключалась в упорном достижении какой-либо определенной цели. Он занимался всегда тем, что ему в данный момент было интересно. А это нередко не имело никакого отношения ни к его специальности, ни к службе. Нужна была большая доброжелательность начальства и коллег Н. Д., чтобы мириться с этим. Но он не был плохим товарищем. Если это требовалось, он охотно вел занятия со студентами вместо других ассистентов Благовещенского и очень много возился со студентами-специалистами, оказывая им огромную помощь своими энциклопедическими познаниями в своей и смежных научных областях.

Каковы же были эти познания? — Прежде всего, они отличались крайней пестротой. Н. Д. был по природе гурман. Он не знал ни одного предмета систематично и в полном объеме. Но всегда выбирал в каждом из них какую-то небольшую, особенно чем-то привлекшую его область. И ее он осваивал досконально. А во время освоения уходил в свое занятие целиком, просиживая за ним дни и ночи. Впрочем, скорее именно ночи, так как дни, а особенно вечера уходили у Н. Д. на встречи и разговоры с самыми разнообразными людьми.

Имея специальностью физиологию растений, Н. Д. кроме самого этого предмета знал, конечно, очень прилично химию и был достаточно осведомлен в физике. Математикой интересовался, но не знаю, насколько хорошо был с ней знаком. В зоологии был вполне осведомлен, как всякий биолог того времени, так как прошел обязательный тогда для всех естественников большой ее курс, но имел специальный интерес к орнитологии и птиц знал много лучше, чем я. Очень много читал по палеонтологии и некоторые группы ископаемых млекопитающих и рептилий изучал специально. Очень интересовался географией, но в старом понимании этого предмета, т. е. с включением в него также антропологии и этнографии, и хорошо знал историю путешествий и географических открытий. Специальный же интерес имел к истории горных восхождений и помнил, кто, когда и по какому камину влез на какую знаменитую вершину. Знал и технику альпинизма. При очень посредственных своих физических данных сам принимал участие в нескольких горных экспедициях Корженевского, с которым дружил. Другим, но вполне платоническим спортивным увлечением Н. Д. было плаванье. И здесь он также мог со всеми подробностями изложить все случаи переплытия Ламанша. Был хорошо осведомлен в истории авиации, любил летать на самолетах и интересовался ими. Занимали его также парусные суда и их такелаж, история старых и новых морских сражений, состав военных флотов разных стран и т. п. Великолепно знал Н. Д. историю колонизации Туркестана, а также новейшую историю стран Среднего Востока, особенно Афганистана и северных княжеств Индии. Вообще современной историей и политикой Н. Д. интересовался чрезвычайно, как нашей, так и иностранной. Он помнил имена чуть не всех депутатов Государственной думы всех созывов и других наших деятелей предреволюционного периода, всех премьеров и главнейших министров английского и французского кабинетов. Следил за современными политическими событиями. Но, как я уже сказал, сам никогда политической деятельностью не занимался.

Леонову легко давалось изучение языков. В совершенстве кроме русского он не знал ни одного и ни на одном иностранном языке не говорил. Но читал свободно на многих и на некоторых мог сносно писать. Лучше других, пожалуй, он знал английский и французский, но вполне прилично также испанский, итальянский, не очень хорошо немецкий, а кроме того знал латинский, фарси, немного греческий, мог читать по-португальски, изучал шведский, но не знаю, освоил ли его, был знаком с разными славянскими языками, с санскритом и бенгальским, интересовался цыганским языком. Интересовался лингвистикой вообще. Но и здесь он следовал своему принципу гурманства. — Изучал только то, что ему по каким-то причинам нравилось, было чем-то близко. Так, его явно мало привлекало все немецкое и поэтому он и язык этот

знал хуже других главнейших, и литературой немецкой никогда не увлекался. Живя в Средней Азии, он почти совсем не знал тамошних тюркских языков. Кажется, даже и объясниться по-узбекски не мог. А таджикский любил и знал. Вообще некоторые народы были ему особенно интересны и симпатичны. Из европейских его специально интересовали потомки кельтов: ирландцы, бретонцы, валлийцы, баски, албанцы. Привлекала его Испания и все испанское.

Однако при изучении языков у Н. Д., как и у меня, главный интерес был не лингвистический, а литературный. Литературу он знал и любил, пожалуй, больше всего. И она же была главным стержнем моего общения с ним.

Мне самому не ясно мое отношение к литературе. Сочинительство, стихотворное и прозаическое, которым я в какой-то мере занимался и занимаюсь до сих пор, — это еще не литературная деятельность. В то же время литература больше всего другого (кроме, разве, музыки) наполняла мою жизнь с самого детства. В школьные годы (в старших классах) мне было с кем говорить о ней. Наши учителя словесности по-настоящему любили свой предмет, прекрасно его преподавали и учили нас не только на уроках, но и при постоянном общении вне класса. Были у меня собеседники на литературные темы и среди школьных товарищей. Но в университете меня окружали люди совсем других интересов. Верно, я познакомился с некоторыми молодыми людьми, сочинявшими стихи или специализировавшимися по литературе. Но первые были крайне бездарны, и ни из одного из них ничего не получилось, а вторые подходили к литературе с самой, на мой взгляд, неинтересной стороны — литературоведческой. Те и другие делали попытки ввести меня в литературные «салоны». В них царили профессора-литературоведы, а гвоздями вечеров были хотя и известные по именам писатели, но такие, что мне и в голову не могло бы прийти читать их произведения. Я в те годы еще не знал, что между настоящей литературой и тем, что служит для заполнения книжного рынка, существует качественное различие. Думал, что между тем и этим имеются незаметные переходы и что средних способностей автор в каких-то своих вещах может подняться до подлинных высот искусства. Слушая в серых собраниях серые стихи и прозу, я думал, что здесь же может выступить и кто-нибудь талантливый. Только много спустя я понял, каким счастьем для меня было, что я не закрепился в этих достаточно респектабельных и вполне тусклых кругах.

Я имею все основания считать, что Судьба неоднократно проявляла ко мне признаки своего особого благоволения. Одним из них было ее решительное вмешательство в мое вступление на литературное поприще. Это было действительно провиденциально, и я расскажу об этом.

Прескверные стихи, которые я сочинял в студенческие годы, все же нравились некоторым из моих знакомых, толокшихся около литературы. Они считали, что я должен выходить с ними в широкий свет. И они-то и втащили меня в «салон», возглавлявшийся некиим профессором Фатовым. У Фатова собирались по воскресеньям.

Он располагал великолепной квартирой на Большой Никитской в доме особнячного типа повыше Никитских ворот. В одно из воскресений я туда и отправился. Пришел не к началу. Огромный кабинет (или гостиная) был переполнен почти сплошь незнакомыми мне людьми. Приятель, оказавший мне протекцию (ведь воскресники Фатова не раз служили молодым авторам преддверием литературного поприща), подошел ко мне и сообщил, что сейчас читает свой новый рассказ знаменитый Новиков-Прибой, за ним выступит со стихами тоже уже известный поэт Морской, а после этого меня представят хозяину и, возможно, я буду дебютировать. Я сел на какой-то свободный стул и стал слушать. Всю жизнь для меня были мукой всякие публичные выступления. Нужно думать, что я совершенно лишен дара нравиться самому себе, составляющего необходимое условие всяческого эксгибиционизма. Но мучительней самого выступления для меня его ожидание. Прибой читал. Я слушал с тоской. Этого писателя я видел не на портрете в первый раз. Очень уж он был ничтожен по внешности. — Коротышка, с круглым лицом, пригодным для дворника, крючника, полотера, но никак не для человека интеллигентной профессии. Содержание рассказа было, конечно, какое надо, — жизнеутверждающее, бодрое. Но тоска была не от одного рассказа и его автора, а от всей атмосферы всеобщей посредственности, от важности хозяина, раскинувшегося в кресле, от умильного выражения лиц слушателей, а больше всего — от томительного ожидания. А ведь передо мной еще Морской. — Стихи у него тоже морские. Сам он то ли в морском кителе, то ли в черной гимнастерке — не помню сейчас, — с нарочито каменным лицом молодого морского волка сидел в ряду слушателей и перебирал какие-то листки. Я остро почувствовал, что в этом кабинете, среди этих людей мне совсем не место, что все мне здесь чужие, что все, что для меня белое, для всех здесь собравшихся — черное, все, что мне мерзко, — им прекрасно. Но уж, решившись прийти сюда, я считал, что должен испить свою чашу. Было стыдно перед приятелями, рекомендовавшими меня. А кроме того — кто знает, — может быть, так и в самом деле нужно?

Спасение пришло с совсем неожиданной стороны. Уже чувствовалось, что рассказ Прибоя подходит к концу. Уже Морской сложил свои листочки. И вдруг я почувствовал, что у меня болит живот. Боль появилась сразу сильная и требовала немедленного облегчения. Пробовал перетерпеть. Она не проходила. Стараясь производить как можно меньше шума, я вышел из кабинета и в слабо освещенной прихожей и ведшем из нее коридоре стал искать клозет. Вероятно, он был в другом конце квартиры или, быть может, я не осмелился открыть нужную дверь, думая, что она ведет в какую-нибудь жилую комнату. Ничего не оставалось делать, кроме как одеться и бежать. Но куда? — Только к себе в Музей. Больше было некуда. Мучимый дикой болью, я побежал вниз по Никитской. Даже и не помню, как я добрался до черного входа в Музей, отпер его и, не снимая пальто, бросился в тамошнее заветное заведение. Облегчение пришло немедленно. Но дрожь от перенесенного

мучения не проходила еще долго. Странно, что этот приступ не оказался началом дальнейшего расстройства живота. Ничего больше не было ни в этот вечер, ни на следующий день.

Сожаления по поводу этого несчастного случая я не испытывал. Знакомых, которых я подвел своим внезапным исчезновением, я каким-то странным образом больше никогда не встречал. Но провиденциальное значение произошедшего я постиг только значительно позднее. Неужели же могло случиться, что, не заболи у меня живот, я прочитал бы свои стихи, выслушал авторитетные замечания по их поводу, устранил имевшиеся в них «недостатки», что-нибудь опубликовал бы, а дальше, ступивши на этот скользкий путь, стал бы постоянно писать и печатать всякую дрянь, приноровляя ее к требованиям нашей официальной литературы? Но бесполезно рассуждать о том, что было бы, если было бы.

Н. Д. любил литературу. Знал он ее, как и все остальное, опять-таки по-гурмански. Одних авторов — прекрасно, других совсем мало. Но и самых своих любимых знал не полно, а выхватывал и у них только наиболее ему полюбившееся. И в этом выхватывании, в умении находить у самых разных поэтов действительно самые замечательные их стихи он был несравненным мастером. Однако вкус у него был не безукоризненный. Но в сторону только переоценки стихов, а никогда не недооценки. Лучшее свидетельство этому то, что он вполне принимал мое поэтическое творчество, которое в то время было просто ужасно скверно.

Узнавание новых прекрасных вещей дает самое большое наслаждение, если, конечно, не считать радости собственного творчества, какое бы оно ни было. Для меня каждое новое приобретение было таким праздником, что он крепко запоминался. Я теперь, конечно, забыл, в каком году я впервые прочитал то или другое дорогое мне стихотворение, роман, рассказ, услыхал музыкальную вещь или увидал картину. Но хорошо припоминаю обстоятельства и весь ход своего романа с этим произведением. Помню не дату, а обстановку, свое состояние. И если это приобретение было сделано не мной самим, то я хорошо помню, кому я им обязан. Среди множества людей, встреченных мною в жизни, некоторые живут в моей памяти только потому, что они меня познакомили с каким-то неизвестным мне до того автором, впервые сообщили прекрасные стихи, сыграли или заставили прослушать музыкальную пьесу. Некоторые из этих людей были вовсе уж не так хороши или были заведомо дурные. Но за сделанный ими мне подарок я сохранил благодарность им навсегда.

А больше Н. Д. Леонова таких подарков мне, пожалуй, не сделал никто. Очень может быть, что я и сам нашел бы стихи Киплинга, но впервые я узнал их от Н. Д. Он же открыл для меня Рембо и Эредиа. Я тогда еще не знал Вийона, Шенье, Бодлера и Верлена. Пережив мучительную любовь к ним, я перестал так восхищаться великолепной бронзой Эредиа. Но в те годы она меня потрясала. Да и теперь я все же люблю

эти стихи. Н. Д. перевел некоторые из них, и эти переводы я приведу в конце воспоминаний о нем. Одной из высочайших вершин поэзии я считаю стихотворение Унамуно «En pie de tus sillares, Salamanca»*. Его на редкость прекрасно перевел Бенедикт Лившиц. Но узнал я его впервые и в оригинале от Н. Д. И от него я узнал чудесный перевод И. Анненского из Сюлли-Прюдома:

*Прозрачна ночь. Своим доспехом медным...***

К сожалению, я не мог найти его оригинала. Прюдом написал множество всякой всячины. Я покупал какие только находил его сочинения, но ни в одном сборнике не нашел этого стихотворения. Н. Д. сообщил мне неожиданно прекрасное стихотворение Радищева, написанное малой Сапфиной строфой:

Ночь была прохладная. Светло в небе
Звезды блещут. Тихо источник льется...

Стихи Мандельштамова «Камня» я знал почти со времени появления этого сборника. Но тогда еще не мог оценить их, а поздней почему-то к Мандельштаму не возвращался. И вот году в 1926 или 1927 в одном из своих писем Н. Д. прислал мне несколько стихотворений из «Тристий». Среди них были «Соломинка», «Когда Психея-жизнь спускается к теням» и еще одно или два. Они потрясли меня. Довольно скоро после этого Н. Д. достал и подарил мне весь этот сборник. Я не могу сказать, что я полюбил Мандельштама или что увлекся им. — Я им тяжело заболел. От «Тристий» вернулся к «Камню» и удивлялся, как же я мог пройти мимо него. Уже в нем Мандельштам был Мандельштамом. Я не сомневаюсь, что рано или поздно я открыл бы Мандельштама сам. Не могло быть иначе. Но это могло бы случиться и много позднее. И тогда наша случайная встреча с ним в 1930 году в Эривани протекла бы совсем по-другому и, возможно, не закончилась бы дружбой, связавшей нас на последующее время. Но сейчас я говорю не об этом. — Когда я думаю о Мандельштаме, я не могу не вспомнить, что все, что у меня с ним связано, началось с письма Н. Д.

Леонов приносил мне иногда репродукции картин, рисунки. Мы ходили с ним в Щукинскую галерею и в Музей изящных искусств. Там и здесь он обращал мое внимание на некоторые картины и скульптуры, мимо которых я прежде проходил равнодушно.

Но Н. Д. не только открывал для меня новые вещи. — Он был моим собеседником. Собеседники нужны каждому. Но особенно в них нуждаются, вероятно, те, кто не любит выступать публично. Для таких беседа с кем-то резонирующим (в смысле резонанса, а не резонерства) — единственный способ проверки себя, и при встрече с

* Возможно, речь идет о стихотворении М. Унамуно «Саламанка», 6-я строфа которого начинается строкой: «Al pie de tus sillares, Salamanca...» (У подножия твоих камней, Саламанка). Перевод Б. Лившица не обнаружен.

** Перевод стихотворения Сюлли-Прюдома «Идеал» из цикла «Стансы». Б. С. Кузин цитирует не совсем точно; у И. Анненского: «Прозрачна высь. Своим доспехом медным...»

ним происходит то, что я для себя называл сверкой хронометров. С Н. Д. я мог разоваривать обо всем, что для меня было важно. Начиная с науки и кончая персоналиями. Не говорил я с ним только о музыке, которую он, к огромному моему сожалению, не понимал.

Если среди моих друзей и были немногие, с которыми можно было разговаривать о стихах, то только о русских. Но, влекомый жадностью, я уже тогда переступил границы отечественной поэзии, собирал ее цветы на чужих полях и сильно страдал от невозможности делиться своими наслаждениями с теми, кто был около меня постоянно. Встречи с Н. Д. заполняли эту остро мною ощущавшуюся пустоту. При этом он не был пассивным слушателем. Я всегда находил у него ожидаемый отклик, а сверх того, в связи с тем, о чем говорил я, он сам припоминал чудные стихи из разных литератур, возбуждая во мне зависть к своим лингвистическим способностям и желание изучить хоть некоторые из известных ему языков. Позднее я это желание в небольшой части удовлетворил. И навсегда запомнил первые стихи на этих языках, сообщенные мне Леоновым.

Как это почти всегда бывает с людьми, любящими литературу, Н. Д. сочинял и сам. Некоторые из его стихотворений (их, вероятно, вообще было немного) у меня сохранились, и я приведу их. В них всегда чувствуется навеянность чьим-то чужим творчеством и уже по одному этому они могут представлять ценность только для ближайших друзей автора. Как я скажу более подробно позднее, Н. Д. был человеком гораздо более воспринимающим, чем творческим. Поэтому, вероятно, он мало и писал своего, но по той же причине любил переводить стихи с чужих языков.

Желание перевести прекрасное стихотворение на свой язык очень понятно. В основе его лежит с одной стороны благодарность к автору, доставившему тебе наслаждение, а с другой — стремление поделиться своей радостью с теми, кто не может прочитать стихи в оригинале. Но удается это, по-видимому, очень немногим и крайне редко. Действительно прекрасных, и притом точных, переводов я знаю всего несколько. При этом чем выше оригинал, тем меньше можно ожидать, что он будет сколько-нибудь равноценно переведен. «Горные вершины» Лермонтова — прекрасное стихотворение. Но тональность его близка к колыбельной. Покой, о котором в нем говорится, совсем не тот, каким веет от стихов Гете. Пушкинский перевод «Трех Будрысов» безукоризнен. Он ничем не слабей оригинала. Но сам оригинал по силе не сравним с потрясающим началом «Пана Тадеуша». Задача Пушкина была неизмеримо трудней, когда он переводил такое «вершинное» стихотворение, как Катуллово «Minister vetuli, puer, Falerni»*. Само по себе стихотворение Пушкина прекрасно, но его Постумия, охарактеризованная только как «председательница оргий», это не катулловская magistra ebriosae acinae ebriosior**, а отсюда вся окраска стихотворения

* Пьяной горечью Фалерна / Чашу мне наполни, мальчик... (*лат.*) (пер. А. С. Пушкина).
** начальница, что пьянее пьяной виноградной ягоды (*лат.*).

другая. Желание полностью передать его дух когда-то толкнуло и меня перевести его. Я сохранил размер подлинника и эпитет Постумии. В нем игру сочетаний brios — brios — ioris попытался заменить соответственно пьяным эквивалентом пья — я — пья. Получилось гораздо точнее, чем у Пушкина. Но Катулл вышел примерно такой же, как Гораций в переводах Семенова-Тян-Шанского, т. е. очень похожий, но совсем не такой. Разница между мной и Пушкиным заключалась в том, что его стихотворение может жить самостоятельно и иметь полную поэтическую силу для читателя, и слыхом не слыхавшего ни о каком Катулле, а мое — подстрочник и без сравнения с оригиналом интереса не имеет. Всегда побуждением к переводу у меня был восторг от прочитанных стихов, пребывание под их очарованием. Так я переводил еще некоторые стихи Катулла, Горация, Гете, Шторма, Ницше, Рильке, Бодлера, Верлена, Тувима. Переводил с трудом и с мучением, работа захватывала и каждая находка радовала. Но конец был неизменно один. — Разочарование. Перед глазами стояли две вещи: сияющий оригинал и тусклое его подобие. После каждого перевода я давал себе зарок никогда больше за это дело не браться. И не мог не поддаться новому искушению.

Тувим («Czterowiersz na warsztacie»*) подробно описал каждый шаг своей работы над переводом на польский первого четверостишия пушкинского «Лукоморья». Нужно думать, он знал настоящую цену этих колдовских стихов, таких, с которыми человек в детстве пробуждается для поэзии, которые носит в себе всю жизнь и с которыми, если только может еще шевелить губами, помирает. Он хочет осчастливить поляков, подарив им пушкинские стихи. Нет ничего драматичнее повествования Тувима. — Цель ускользала у него из рук. Пушкинские краски одна за другой блекли. — Нет, никак ничем не заменишь *лукоморья*. Значение этого слова передается в переводе более или менее близко по смыслу, но в новом стихотворении на месте алмаза — обыкновенный кирпич. Никак не всовывается в польский стих *дуб зеленый* и *цепь на дубе том*. Дуб заменяется явором. Кстати, явор более поэтичен, чем дуб, и переводчик робко надеется, что придание стиху большей яркости в этом месте, быть может, как-то компенсирует его потускнение в другом от замены *лукоморья*. Слова выискиваются, заменяются одно другим, всячески перестанавливаются... Тувим так и не перевел этого четверостишия. Он приводит переводы других авторов, менее щепетильных. — Что ж, стихи как стихи. Если такими перевести всего Пушкина, то поляк с гордостью узнает, что лучший русский поэт все же слабей какого-нибудь Сырокомли или Асныка, а уж никак не сравнится ни с Мицкевичем, ни со Стаффом, ни с самим Тувимом.

В рассказе Сенкевича «Latarnik»**, известном в русских переводах под заглавием «На маяке», старый солдат-поляк, проскитавшийся всю жизнь по свету, израненный во всех войнах за свою страну и за всякие чужие и устроившийся наконец в какой-то

* «Работа над четверостишием», *букв.* «Четверостишие на верстаке» (*польск.*).
** «Смотритель маяка» (*польск.*).

южно-американской республике сторожем на маяке, получил в благодарность за свои взносы в организацию помощи польским эмигрантам посылку с книжками на родном языке. Он стал читать «Тадеуша», и его так взволновали приводимые в рассказе строки пролога, что он забыл зажечь фонарь на своем маяке. Вызванная этим катастрофа лишила его последнего пристанища. Тот, кто читал этот рассказ в переводе, подумает, что старик просто предался воспоминаниям о родине, и не поймет из убогого перевода стихов, что они могут и не только поляка заставить забыть все. — Нет во всей литературе более исступленного, из самой глубины идущего обожания отнятой родины и тоски по ней. Никаким переводом передать силу этих стихов нельзя. А значит, и лучший из всех рассказов Сенкевича не может быть понят при чтении не в подлиннике.

Б. Л. Пастернак в последние годы своей жизни много переводил. Он был лишен других способов заработка, и я рад, что переводы дали ему возможность жить. Но я думаю, что они ровным счетом ничего не прибавили к его фигуре великого поэта. Его переводы Шекспира и Гете много грамотнее и технически сильнее предыдущих. Но и по ним, как и по тем, нельзя составить представления о настоящих «Гамлете» и «Фаусте». И в то же время Пастернак — гениальный переводчик. Он способен проникаться сущностью чужих стихов и раскрывать ее для читателя, как бы переводя их на свой, пастернаковский, язык. Его стихотворение «Шекспир» («Извозчичий двор и встающий из вод...») лучше раскрывает Шекспира, чем его же перевод «Гамлета». Настоящий гетевский Мефистофель дан Пастернаком не в переводе «Фауста», а в стихотворении «Из массы пыли за заставы...» Но такие переводы Пастернак делал не только с иностранных языков, но также и с русского (опять-таки на свой, пастернаковский). Так он «переводил» Пушкина («Тема с вариациями») и Лермонтова («Памяти Демона»). И эти переводы прекрасны.

Думаю, что стихи было бы лучше всего переводить на другие языки прозой. При этом происходило бы их обесцвечение, передача многоцветной картины черным и белым, но не было бы искажения предметов и красок.

Однако мои рассуждения не приведут к исчезновению стихотворных переводов. Будут жить уже существующие и будут появляться новые. И они, даже принимая во внимание все, что я только что сказал, могут быть и более, и менее удачные. Я приведу в конце те стихотворные переводы Н. Д., что у меня сохранились. По-моему, большинство их вполне сносные.

Это в первую очередь относится к трем сонетам Эредиа: «Завоеватели», «Бегство кентавров» и «Пленник». Верно, автор очень строго соблюдает форму и не допускает ни малейшего отступления от канона сонета, а у Н. Д. многие рифмы неполны, а некоторые (воде — глядел) просто недопустимы для сонета. И все же он очень верно понял и передал парнасский дух поэзии Эредиа.

Очень хорош также его перевод знаменитого Горациева «Памятника». Размером подлинника его переводили, кроме Н. Д., также Брюсов и Семенов-Тян-Шанский*. Последний — наименее удачно. Переводы же Н. Д. и Брюсова очень сходны, и я не могу отдать предпочтения ни одному из них. Но у меня сейчас нет печатного брюсовского «Памятника» и нет леоновского, написанного его рукой. Сохранилась только бумажка, на которой один из них записан мною. Я не знаю, чей он. Но помню наизусть оба. Поэтому оба и приведу.

Привожу я также переводы «Полдня» Леконт де Лиля и «Buscas en Roma la Roma...»** Кеведо. Первый из этих авторов не относится к числу любимых мной. Вообще мои вкусы в литературе далеко не полно совпадали со вкусами Н. Д. В своих склонностях он обладал более широким диапазоном. Но с другой стороны, он никогда не испытывал такой одержимости особо любимыми авторами, как это было свойственно мне.

Я не знаю фарси и потому не могу судить, насколько четверостишие Хакани «Весть печали о тебе» хорошо как перевод, но само по себе оно прекрасно.

Н. Д. сочинял и пародии. Их, особенно маленьких, было много. Но у меня сохранилась только одна, написанная на стихи брюсовского «Мига». Шуточные стихи писал Н. Д. и сам, и сочиняли мы их с ним совместно, а иногда и еще с кем-нибудь, между прочим, и с О. Э. Мандельштамом. Сообщал он мне всякие смешные стишки и рассказы некоторых своих приятелей.

Я очень жалею, что у меня так мало осталось (и только в памяти) стихов Борсуцкого. Этого автора Н. Д. выдумал совместно с двумя своими братьями, старший из которых умер, кажется, во время войны или революции. Борсуцкий был священником. Немного он напоминал Козьму Пруткова. Принадлежал к вымышленной же национальности чернороссов и писал на чернорусском языке. Для этого языка было характерно произношение некоторых «е» и «и» как «э», замена во многих случаях «а» на «о», дзеканье и тцеканье, твердое, как польского «cz», произношение «ч». Трудно изложить грамматику и фонетику чернорусского языка. Но на практике постигнуть его было просто. Я, по крайней мере, усвоил его от Н. Д. довольно быстро, разговаривал с ним на этом языке и участвовал в совместном с ним сочинении новых чернорусских стихов. Настоящие же стихи отца Иоанна Борсуцкого я приведу не в конце вместе с другими, а прямо тут же, так как они требуют некоторых пояснений. И некоторые напишу без чернорусских особенностей произношения.

Ночь в Лондоне

На часах Большого Бэна
Стукнуло полноч.
Нэ видать кругом нэ хрэна,
Ноступила ноч.

* Я не помню, как написан перевод Востокова (*примеч. автора*).
** Ты ищешь в Риме Рима (*исп.*).

В сочинениях, написанных до революции, царствующая фамилия Романовых называлась Косточкины. При этом сам Николай был Никита Иванович, императрица-мать, Мария Феодоровна, — Фекла, царица Александра — Прасковья, царевич-наследник — Фока. Скандальные истории при дворе, связанные с Распутиным и с его убийством, нашли отражение в следующем произведении.

А у Косточкеных в доме
Поднялося все вверх дном.
Не поймешь в током содоме,
Гдзе Пофнуцей, гдзе Похом.

Сам Никитушка с дубиной,
Фекла старая с метлой,
Поросковья с хворосциной,
С стулом Фока молодой.

— Я да ты, да что токое, —
Кто хозяен тут у нас? —
Хлоп тут об пол все жоркое.
Ну и бура поднялась!

Порозбил он все графины,
Чашке, румке, стоконы,
С всех торелочек сордзины
Посовал себе в штоны.

Даже Феклу изобидзел:
Старой дурой обозвал,
Поросковье и похуже
Нрав свой дзикий покозал.

Тут Никита вспоменает:
— Гдзе же наш сторик Щегол? (министр юстиции Щегловитов)
Стонового посылает,
Чтобы он его привел.

Тут Щегол приходзет вскоре,
С ним пьянчуга Протопоп (мин. внутр. дел Протопопов)
Прямо радосць, а не горе!
Только слышно — пробке хлоп!

— Жаль Ефимыча нет с наме — (Распутина)
Тут Никитушка скозал, —
Поглощен реки волнаме,
Не зо грош он жизнь скончал.

. . . . . .

— Ну и Косточкены тоже!
Всяк в дзеревне говорил, —
От токих избавь нас боже,
С ниме жиць не стало сил.

Будучи священником, Борсуцкий, как и большинство их, недоброжелательно относился к черному духовенству. Он же, вероятно из живого интереса к путешествиям, очень почитал все относящееся к морскому делу. И именно с целью унизить архиерея он поместил его в морскую обстановку в своем написанном гекзаметром и при этом еще лишенном одного стиха сонете.

Раз негодяй архерей, неисходно шатавшийся в трюме,
Неаккуратно травил и, конечно, испачкал корабь.
К этому времю надулась небесная хлябь
И, несомненно, завыл над снастями неистовый брюмер.

Обеспокоясь, владычный в опаске зарюмил.
Боцман на дудке безумно гудёт: — Марса-фалы ослабь!
Словно в битве избитый татарами отрок Ослябь,
Отче по шканцам ползет крокодила угрюмей.

Кинуть змеюку за борт! — хладнокровно кричит капитан.
Вот уж гандшпуг прицепляют матросы за рясу.
Бросились стаей акулы к архерейскому сладкому мясу.

Но неуспешно: — искусным маневром немедля, скорей
Был на борт извлечен невредимым верзила отец архерей.

У Борсуцкого были свои собственные представления о предметах высоких и низких. Они изложены в этом стихотворении.

Коммунист на прескверной бумаге
Бестолковейший пишет приказ,
Чтоб развесили красные флаги
В первомайского празднества час,
И жене говорит, чтоб к наваге
Заготовила с вечера квас.

Идиотам, естественно, чужды
Развлеченья высоких умов,
Что телесные важные нужды
Сочетают с работой мозгов
И готовят питательный ужин
Из на вид и сухих пирогов.

Астроном на заржавой «Брунсвиге» (*одна из первых марок арифмометров*)

Вычисляет орбиты комет,
Старший штурман на вверенном бриге
Инвентирует каждый предмет,
Я читаю серьезные книги,
Как скандалили тори и виги,
Робеспьер и безбожный Шомет,
Как из Мекки бежал Магомет,
Иль смотрю на сосуды Мальпиги*.

Я боюсь, что обрисовал свое общение с Н. Д. слишком односторонне: только на почве литературы. Оно на самом деле было более широким. Живя в разных городах, мы все же проводили вместе довольно много времени. С 1923 по 1930 год я четыре раза был в Средней Азии и каждый раз задерживался в Ташкенте по пути туда и обратно не меньше, чем на неделю, а обычно и дольше. А находясь там, почти все время проводил с Н. Д. Он же еще чаще бывал в Москве и иногда подолгу. Останавливался у меня в Музее, а когда это стало невозможно, — у своего дяди К. Н. Игумнова, известного пианиста и ректора Московской консерватории. В Ташкенте Н. Д. ввел меня в круг своих тамошних друзей, как и я его — в круг своих московских.

Отношение к городу определяется для нас больше всего тем, как мы в нем проводим время. Ташкент двадцатых годов был хорош и сам по себе. Я не говорю уже о Старом городе, полностью сохранившемся в своем первоначальном виде почти до 1925 года (по крайней мере, до этого года в нем еще был крытый базар). Но и европейская часть была хороша и своеобразна. — Одноэтажные домики из молочно-кофейного с чуть розоватым оттенком кирпича или беленые, с тенистыми садиками при каждом. Масса зелени на всех улицах. Весело бегущие арыки. Великолепный Кауфманский сквер в центре, где мощные карагачи давали сплошную тень во все часы дня. Большая примесь узбеков в национальной одежде, которой они держались очень стойко, придавала уличной толпе даже и в Новом городе пестрый и словно бы карнавальный вид. Но всего этого было бы мало самого по себе, чтобы сделать для меня Ташкент прекраснейшим местом, о котором я и до сих пор вспоминаю, как о чем-то праздничном. Главное заключалось в том, что я всегда находился там как бы в состоянии невесомости. — Я был совсем свободен. — Все деловое, связанное с Москвой, там было для меня позади, а работа, выполнять которую я приехал, — покамест еще впереди. Здесь же я занимался только самыми приятными вещами. — Посещал всякие компании, где меня, как друга Н. Д., принимали очень хорошо и где велись веселые беседы. Кроме того, в Ташкенте жила моя тетка, сестра отца, со своими

* Мальпиги Марчелло (1628—1694) — итал. биолог и врач, один из основоположников микроскопической анатомии растений и животных. Сосуды Мальпиги — выделительные органы у большинства паукообразных, многоножек и насекомых.

тремя сыновьями, из которых младшие были примерно моего возраста. Тетя Маня очень любила моего отца и, находя во мне многие его черты, сильно меня баловала. Она находила, что особенно я унаследовал от отца манеру есть. Поэтому ей доставляло удовольствие кормить меня и поить чаем. А готовила она удивительно вкусно. Обедал у нее я почти каждый день. А после обеда, усевшись под тенистым деревом у пробегавшего через садик небольшого арыка, играл с одним из двоюродных братьев в шахматы и до бесконечности отпаивался чаем. Вдвоем или втроем мы выпивали до десяти небольших керосиновых самоварчиков, какие были очень в ходу в Средней Азии, и за этим занятием пережидали, пока спадет самый тяжелый зной послеобеденного времени. После этого я отправлялся на условленное место встречи с Н. Д. и мы чаще всего шли в какую-нибудь компанию или проводили с ним время в разговорах вдвоем за бутылкой дешевого винца.

Среди знакомых Н. Д., по большей части связанных с университетом, были люди очень занятные. По профессии и по своим интересам они были крайне различны, что соответствовало, конечно, разнообразию интересов самого Н. Д. Из них я припоминаю юриста профессора М. А. Крямичева, директора Ташкентской публичной библиотеки (очень хорошей) Е. К. Бетгера, в более поздние годы — поселившегося в Ташкенте или высланного туда, уже очень старого С. А. Полякова, — богача и мецената, издателя роскошных символистических альманахов, связанного в свое время с Бальмонтом, Брюсовым и с другими символистами, с деятелями «Мира искусства». Но наиболее интересным человеком из всех, с кем я в те годы познакомился в Ташкенте, был Н. О. Гаврилов.

Я встретился с ним впервые у его тестя, профессора Крямичева. Николай Осипович был еще довольно молодой, большого роста и плотный человек, круглолицый, румяный и близорукий. Н. Д. многое мне о нем до этой встречи рассказывал, но, придя со мной к Крямичевым, не предупредил меня, что он там будет. Никто там нас не представил друг другу. Этот человек сразу мне понравился по внешности. Он хозяйничал за столом. Очень ловко разрезал большим ножом и раскладывал по тарелкам жаркое, с большой сноровкой обращался с бутылками, с аппетитом ел и исправно пил водку, что, впрочем, хорошо делали и другие члены компании. Разговор шел оживленный, остроумный и достаточно вольный. Чувствуя себя вполне свободно, и я тоже не очень держал язык за зубами. Понемногу я сообразил, кто этот человек, и подумал, что некоторые вещи я говорил при нем напрасно. В тот свой приезд я с Н. О. больше не встречался, но наше с ним знакомство не прекратилось. Мы встречались постоянно после и в Ташкенте, и в Москве.

История же его была такова. — Вскоре после утверждения в Туркестане советской власти он был прислан в Ташкент в качестве какого-то комиссара (я никогда не знал доподлинно, в чем заключалась его роль) с очень большими полномочиями. Поселился он во дворце, принадлежавшем не помню, какому именно, опальному и

сосланному в Ташкент великому князю*. Н. О. был человек очень определенный и деятельный. — Всякое дело, за которое он брался, он выполнял, а после этого сидеть на месте и просто служить не мог. Должен был браться за что-то новое, вполне конкретное, что требовалось довести до определенной цели. Наведя порядки, которые он должен был в чем-то навести, он оставил свое комиссарство, и его назначили ректором какого-то технического вуза, кажется, Ирригационного института. По образованию он был экономист, специалист по финансам. Став ректором и принявшись за чтение курса, он, как и всяким другим своим делом, увлекся преподаванием и все больше углублялся в науку. Специально же интересовался вопросами социологии и философией. С академической средой он тесней сблизился благодаря женитьбе на дочери Крямичева. Углубление в философию и в науку для него, как и для некоторых других известных мне думающих и интеллигентных молодых марксистов, оказалось роковым. — Он перестал быть марксистом. В 1930 г. во время чистки он был исключен из партии. Тогда многих исключали не с целью изгнания из партии, а для того, чтобы заставить исключенного в процедуре восстановления особо подтвердить свою верность священным принципам и генеральной линии. Но Н. О. не подал заявления о всостановлении. Это встревожило партийное начальство, так как такие заявления подавали решительно все, независимо от того, исключали ли их всерьез или только для острастки. Его вызвали и спросили, почему он не ходатайствует о восстановлении. Н. О. ответил, что находит мотивы, по которым он был исключен из партии, справедливыми. Мотивы же эти были: недостаточная политическая активность и врастание в профессорскую среду. — Действительно, сказал он, — занявшись усиленно наукой, я стал мало активен политически, и вряд ли смогу быть более активным. Также, будучи профессором и женившись на дочери профессора, я вошел в соответствующую среду. — За такой ответ он, конечно, немедленно был снят с должности ректора и отстранен от преподавания.

У Н. О. были большие связи в высоких кругах. Кажется, он был племянником Томского или как-то иначе находился с ним в родстве. После этой истории он поехал в Москву, и так как он был специалистом по финансам, то ему предложили довольно большой пост в Госбанке. С того времени начался новый период моего знакомства с ним — московский. Мы встречались нечасто. Но непременно виделись, когда в Москву приезжал Н. Д. Ритуал этих встреч был довольно постоянен. Они происходили за плотной трапезой с водкой. Н. О. был человек очень крепкий и прежде всего деловой. Он не любил долго задерживаться за едой и пить постепенно, маленькими порциями. Считал, что водки нужно сразу же выпить добрую порцию, употребляя для этого не рюмки, а чайные стаканы, и наливая их полными или уж по крайней мере, если кто хотел, — до половины. Водку следовало фундаментально заесть, а после этого уже переходить к беседе.

* Причиной опалы была, по одной версии, политическая неблагонадежность, а по другой — кража бриллиантов у царицы Марии Федоровны (*примеч. автора*).

В последний раз мы виделись с ним в одно достопамятное воскресенье 1933 года у него на даче в Краскове по Казанской дороге. Я хорошо помню этот день, потому что как раз в канун его Гитлер устроил свою знаменитую «ночь длинных ножей», когда он перерезал тех, кто больше всего помогли ему притти к власти. Дача Н. О. каким-то странным образом находилась в недавно выстроенном поселке высоких сотрудников ГПУ. Разыскивая ее, мы с Н. Д., приехавшим со мной из Москвы, то и дело встречали отлично выбритых и молодцеватых мужчин, явно не умевших носить штатскую одежду. Каждый из них вел на поводке или на цепи немецкую овчарку или добермана. Очевидно, устраивалась собачья выставка или шло обучение собак.

Вся обстановка этой последней встречи с Н. О. была очень тревожная. Было ясно зловещее значение событий, произошедших в Германии. У нас тоже шло нарастание террора. О нем уже тогда редко удавалось не думать. Здесь же, в окружении обитателей этих тесно поставленных дачек, да еще в воскресный день, когда все их хозяева находились дома самолично и кругом царило заметное оживление, тяжесть сгущающейся атмосферы особенно ощущалась.

Н. О. был, как всегда, оживлен и рад возможности поговорить по-человечески. Такая возможность для каждого, кто не разучился видеть и думать, представлялась все более редко. На своем месте в банке Н. О. пока держался прочно. Но эта служба начинала его тяготить. Он довольно быстро наладил работу в своем отделе, бывшую до его прихода не на высоте, и чувствовал, что больше ему делать там нечего. Масштаб его работы был ему явно мал. А на больший он теперь рассчитывать не мог. Положение тех, на кого он опирался (Томский и Рыков), уже тогда было достаточно шаткое.

День был жаркий. От этого ли или от нервирующей обстановки водка, выпитая за обедом в обычном, достаточно большом, количестве, подействовала на меня сильнее, чем всегда. Н. Д. тоже как-то быстро наклюкался. И мы с ним довольно рано отправились на станцию. Н. О. проводил нас. Больше я его не видал и ничего о нем не слыхал. Вряд ли судьба его была благополучной.

С Н. Д. я очень дружил почти 12 лет. При этом я не задумывался о своем отношении к нему. Меня восхищало разнообразие его познаний. Я был благодарен ему за то, что он так щедро делился ими со мной. Его способности к изучению языков, как и способность ориентироваться во многих мало для меня доступных научных областях, вызывали во мне зависть. Я был совершенно уверен в его превосходстве передо мной во всех отношениях. Только в музыке он был несведущ, так как совсем не имел музыкального слуха. И я об этом очень жалел, потому что не мог разговаривать с ним о таком важном для меня предмете. Но мирился с этим, понимая, что даже и на

солнце бывают пятна. И только меня удивляло, каким образом мы могли так тесно дружить, когда по натуре мы были совсем разными людьми.

Во мне всю жизнь не было и тени какого бы то ни было чудачества. С самого детства я не сомневался в необходимости соблюдения приличий в обществе, ценил в людях умение хорошо себя вести и не тяготился тем, чтобы самому вести себя так. Нас в детстве не муштровали и не приучали специально к тому, что называется (вернее, называлось) хорошими манерами. Да и некому было сообщать нам особо светский лоск в нашей отнюдь не аристократической семье. Просто нам были внушены некоторые элементы приличного поведения. Возможно, что важно было не столько это внушение, сколько врожденная склонность к такому поведению. Вероятно, она у меня и была. Выражалась она также и в заботе о внешней пристойности. Еще когда я был совсем маленьким мальчишкой, меня беспокоили даже небольшие дефекты в моей одежде. Дырки на чулках у детей появляются с необычайной легкостью, особенно летом, когда при игре в прятки залезаешь черт знает в какие закоулки всяких сараев и за поленницы дров, лазаешь по деревьям и перелезаешь через заборы. За эти дырки мама нас не только не наказывала, но даже и не бранила. Но меня они мучили одним своим видом, и я тотчас же зашивал их сам, то есть, конечно, затягивал самым примитивным способом. После поступления в гимназию, когда деревенский портной приносил мне сшитую им форменную одежду, я тотчас же замечал в ней отступления от строгого канона. — Не так посажен хлястик на шинели, пришиты петлицы, нижние пуговицы не на уровне карманов и т. п. Но мама, которая принимала портного, ничего в таких вещах не понимала, а сам заявить ему об этом я не решался. Нося эту шинель, я называл ее про себя, припоминая Гоголя, капотом и терзался, идя в ней по улице или находясь среди своих товарищей-гимназистов. Я был уверен, что все только и смотрят на неправильно пришитый хлястик и презирают меня за такой чудовищный гардероб. Не меньше смущали меня и экстравагантности в туалете, на которые я, как и многие дети, бывал иногда обречен по воле родителей. Не только в детском возрасте, но и ставши взрослым, я болезненно ощущал всякие недостатки в своей одежде, а особенно в обуви. Я всегда не любил обращать на себя чем бы то ни было внимание в публичных местах. Считал возможным на улице, в трамвае, в фойе концертного зала или кино разговаривать со своим спутником только вполголоса. Развязавшийся шнурок у башмака или слетевшая от ветра шляпа причиняли мне большое огорчение и стыд. Но больше всего я избегал своим поведением как-либо шокировать окружающих, а в гостях — причинять неудобство хозяевам или нагонять на них скуку. Если я замечал у хозяев хоть тень неудовольствия от курения в их квартире или самые легкие признаки скуки от разговора со мной, то как можно скорей избавлял их от своего присутствия. И обычно уже навсегда. Такая нелюбовь к неприятным положениям заставляла меня быть внимательным к людям, с которыми я имел дело. — Присматриваться к их привычкам, вкусам и взглядам и, конечно, хорошо запоминать их имена и отчества.

Во всем этом, кроме, пожалуй, внимательности к людям, но без извлечения каких бы то ни было практических выводов из наблюдений над ними, — Н. Д. был полной моей противоположностью. Но не по хорошу мил, а по милу хорош. И все различие поведения Н. Д. от моего я воспринимал никак не с порицанием. А даже наоборот — видел и в этом его превосходство над собой.

Дело в том, что все только что описанные свои черты я никогда, а особенно в молодости, не считал добродетелями. Наоборот, приверженность к приличному поведению представлялась мне проявлением глубоко сидящей во мне мелкобуржуазности. Боязнь мелких faux pas*, а также способность замечать оттенки поведения окружающих я считал несомненным признаком своей мелочности, в которой видел твердую гарантию неспособности к большим делам и большим чувствам. Да я и до сих пор не понимаю, как эта мелочность (что ни говори, а это она) уживается во мне с некоторыми противоположными ей свойствами.

И вот от всей этой белиберды Н. Д. был совсем свободен. Своей внешностью он привлекал внимание прохожих на улицах. В любом обществе он мог появиться с всклокоченными волосами, заросший, плохо умытый, в грязной и измятой одежде, в нечищенных и стоптанных башмаках на босую ногу. Кстати, он почему-то любил большую обувь, хотя нога его была и невелика, и покупал башмаки номера на два выше того, какой ему требовался. От нелюбви к воде и мылу от него часто плохо пахло. Нельзя сказать, что ему совсем не нравился всякий порядок в его туалете. Иногда он посещал парикмахерскую и, возвращаясь из нее постриженный, явно сиял довольством. Приобретая какую-нибудь новую принадлежность костюма, Н. Д. демонстрировал ее на себе с гордым видом. Но новым нарядным галстуком он, не задумавшись, повязывал воротник измятой и грязной рубашки. Откуда-то он вычитал, что мерилом цивилизованности служит количество употребляемого одеколона, и очень гордился, что таковой у него в большом ходу. Он то и дело вытирал им руки.

Однажды один его товарищ по кафедре, М. И. Курбатов, решил все же сводить его в баню. Н. Д. долго от этого увиливал. Но так или иначе это предприятие все-таки состоялось. Учитывая непрактичность Н. Д., Курбатов запасся мочалкой и мылом также и на его долю. Они вместе разделись и прошли в моечную. Курбатов принялся мыться, а Н. Д., поместившись с ним рядом, завел разговор на какую-то отвлеченную тему. В руке он держал мочалку и размахивал ею в такт своей речи. На понуждения к мытью со стороны товарища он отвечал: «Да, да, сейчас». Курбатов вымылся. Тогда Н. Д. сказал: «Ах, вы уже кончили?» и пошел с ним в предбанник одеваться, так и не намылившись.

Н. Д. не просто не замечал странностей своего поведения. Он бравировал ими. Ему нравилось вызывать в людях удивление, и он очень весело рассказывал о своих

* «ложных шагов» (*фр.*) — опрометчивых, ошибочных поступков, оплошностей.

удачах в этом занятии. В 1930 году в Ташкенте было очень неспокойно. Там скопилось много всяких темных элементов, часто происходили кражи, уличные грабежи и убийства. По ночам по улицам ходили патрули милиции и уголовного розыска. Я в тот свой приезд поселился у одной приятельницы, жившей в довольно отдаленном и глухом районе города. Как всегда в Ташкенте, вечера проходили в увеселениях при непременном участии Н. Д. Кончались эти забавы очень поздно. После них Н. Д. отправлялся в далекий путь домой. Грабителей он не боялся, так как никому не могло притти в голову напасть на такого оборванца. Хуже было бы попасть для выяснения личности в милицию. Во время одного из таких возвращений он все же повстречался с патрулем. Вид у Н. Д. был обычный, то есть достаточно подозрительный. Как всегда, он нес книжку, держа ее в руках за спиной (без книги или нескольких книг его вообще нельзя было встретить). Конечно, был здорово пьяноват. Заметив патруль, продолжал двигаться ему навстречу. Когда приблизился, раздался окрик: «Стой!» Он остановился, продолжая держать руки за спиной. «Что у тебя в руках?» — Н. Д. посмотрел на спрашивающего и спокойно, тихим голосом ответил: «Вестник Ирригации». После этого продемонстрировал свою книжку. Его отпустили без дальнейших расспросов.

Уже по одной своей внешности Н. Д. был заметной фигурой в городе, тогда еще не очень большом. Несомненно, что о его удивительных знаниях и о чудачествах шла самая широкая молва. Политические и всякие другие его взгляды, которые он высказывал без особой осторожности, были далеко не конформистские. Казалось бы, что все это должно было привлекать к нему внимание властей предержащих. Вероятно, и привлекало. Но он не имел, насколько я знаю, никаких столкновений с «органами». Мне это даже казалось странным. Но со временем я понял, что именно по причине своей экстравагантности и слишком уж явного несоответствия желательным и обычным нормам поведения и образа мыслей он и избежал неприятностей, какие достались на долю почти каждого интеллигента в сталинские времена. Таких не трогали. Быть может, они были нужны в качестве приманки для вылова охотно группирующейся вокруг таких людей более свободомыслящей молодежи.

В компаниях Н. Д. бывал очень веселый и оживленный. Остроумия и юмора у него было достаточно. Это видно хотя бы из его борсуцких стихов, пародий и тому подобных произведений. К сожалению, я не могу припомнить всех коллективных стихотворений типа буриме, которые писались по разным поводам. Состав их авторов был различный. Но во всех строки, придуманные Н. Д., были очень удачны. Не последним он был и во всевозможных веселых предприятиях. Но веселость была у него далеко не постоянным состоянием. Даже, пожалуй, нормой для него была меланхолия, особенно когда он оставался в одиночестве. На длительные полосы находившей на него тоски он иногда жаловался мне в письмах. Но самое наглядное свидетельство о них дают его рисунки. Умение рисовать также относилось к числу способностей

Н. Д. У меня сохранились три его рисунка. Это очень тонкие миниатюры, выполненные тушью с помощью чертежного пера и напоминающие экслибрисы. Они почти беспредметны (кроме одного с львиной мордой и лапами), но с причудливыми растительными и животными элементами. На меня они всегда производили странное и чем-то тяжелое впечатление. Я как-то показал их одному своему приятелю-художнику с очень тонким чутьем к людям. О Н. Д. он не слыхал ничего. Но, бросивши только взгляд на рисунки, воскликнул: «Это же настоящая шизофрения!» Я припомнил, что Н. Д. говорил мне об изготовлении этих рисунков. — Они возникали именно в периоды тоски. Мелкая точечная техника поглощала часы, и кропотливая работа, видимо, как-то успокаивала его или притупляла нервы.

Были у Н. Д. и другие признаки душевного неблагополучия. — Он не был наркоманом. Но наркотиками очень интересовался и перепробовал все, какие только были ему доступны. Его также нельзя было считать алкоголиком. Но все же пил он значительно больше нормы. Вряд ли это не оказывало никакого действия на его нервную систему. Необычно было и его отношение к женщинам. Он никогда не был женат, и я ни от него самого, ни от кого из общих друзей ничего не слыхал о каких-либо его сердечных привязанностях или хотя бы любовных похождениях. В то же время он охотно проводил время в женском обществе, не дичился женщин, заводил с некоторыми дружбу, которая, однако, никогда не перерастала в нечто большее.

Как я уже сказал, я был твердо уверен в полном во всех отношениях превосходстве Н. Д. над собой. Отсюда мне казалось, что всем тем, с кем я дружил, он должен быть гораздо более интересен и приятен, чем я. Поэтому я с гордостью знакомил его со своими друзьями. И велико было мое удивление, когда далеко не все оказывались в состоянии его оценить. Особенно в этом смысле меня огорчали мои приятельницы. В лучшем случае они находили его забавным. Иногда жалели за его неустроенность. И обычно их шокировала его неряшливость. Области же, в которых он проявлял свои удивительные познания, были им совершенно чужды.

Но не только женщины не разделяли моего отношения к Н. Д. Я заметил, что и мои друзья-мужчины обычно удивляются обилию его знаний, с интересом воспринимают исходящую от него «информацию», запоминают рассказываемые им смешные истории и шуточные стихи. Но они не повторяют его суждений. В разговорах с ними я не улавливал у них отголосков его мыслей. Меня это сильно удивляло и в глубине огорчало. Постепенно и не совсем самостоятельно я понял причину этого. Понять же ее сразу мне мешали сильное дружеское чувство к Н. Д. и благодарность за все, что я от него получил.

Страсть к накоплению знаний очень опасна. Знания необходимы для всякого творчества. Накопление их чрезвычайно увлекательно, и оно легко может стать самоцелью. Особенно у людей с не очень сильным творческим началом. Так, по-видимому, и произошло с Н. Д. Нельзя сказать, что он был человек совсем не творческий.

В нем было свое и оригинальное. Но оно с годами все больше отходило на задний план, уступая место приобретаемому, чужому. И это приобретательство постепенно все больше поглощало его. Оно все больше служило не для развития своих мыслей, а становилось коллекционерством. А всякое коллекционерство по самой своей сути глубоко бесплодно. Питается оно тщеславием. Коллекционера тешит, что у него имеется то, чего нет у других. Но одно это сознание его не насыщает. Ему необходимо показывать свои сокровища другим людям, зависть которых и награждает его за труд, затраченный на собирательство.

Что Н. Д. любит выкладывать свои знания, я знал с самого начала своего знакомства с ним. Это мне казалось вполне естественным. Я думал, что я и сам так поступал бы, если бы располагал такой массой сведений о всяких вещах. Но позднее я стал замечать, что Н. Д. не всегда выбирает себе подходящего слушателя. И с течением времени эта неразборчивость прогрессировала. В последний раз, что я находился с ним вместе в большой компании, он выкладывал какие-то санскриты своей соседке по столу, совсем пустой, редко глупой, уже не молодой и сильно накрашенной даме, которая, впрочем, была польщена его вниманием и слушала с понимающим видом.

Если Н. Д. стал человеком-копилкой, то это произошло с ним не сразу. Сначала я знал его не таким. Склонность к накоплению знаний ради накопления, конечно, была в нем всегда. Но она овладела им полностью и убила в нем все свое, творческое, лишь постепенно. Некоторые из моих друзей, с которыми я познакомил его в более позднее время, например, О. Э. и Н. Я. Мандельштамы, заметили это сразу же. Я же тогда все еще видел перед собой его прежнего и не желал замечать того, что становилось достаточно явным. В 1938 году, когда Н. Я. Мандельштам гостила у меня в Шортанде, мы разговаривали с ней о Н. Д., и о нашей дружбе с ним я говорил со своей всегдашней точки зрения. И тут Н. Я. мне сказала: «Но ведь все было как раз наоборот. — В этой дружбе опорой были вы. Он был лианой». Я был ошеломлен этим. Но потом, припомнивши все, понял, что оно, вероятно, так и было.

В последний раз я видел Н. Д. в Ташкенте весной 1945 г., перед самым окончанием войны. Он еще с начала ее был призван на военную службу. Но на фронте не был, а служил в Ташкенте. На нем были узкие погоны, не помню, интендантского или юридического ведомства с капитанскими звездочками. Даже и в военной форме он имел довольно неряшливый вид. Мы встретились несколько раз. Н. Д. был весь сильно потускневший. Даже и во время разговора задумывался и смотрел в одну точку. Говорил монотонным голосом. На многое жаловался. О своей службе и занятиях не распространялся. Так я и не понял толком, в чем состояла его служба. Говорили, что пить он стал еще больше, чем прежде. Все годы после моего ареста и до этой встречи он мне ничего не писал. Не возобновилась наша переписка и после встречи. Несколько лет тому назад я узнал, что он умер в психиатрической лечебнице.

Стихи Н. Д. Леонова

«Отраднее быть псом живым, чем мертвым львом!»
Сказал Экклезиаст скорбящими устами.
«И все, как тень и дым. И мир, как ветхий дом.
И жизнь в небытии утонет вместе с нами».

В те ночи древние, один под небесами,
С дворцовой высоты, как с гребня мыса, он
В молчании блуждал усталыми очами,
Склонившись сумрачно на свой узорный трон.

О, старый царь! О, друг великого светила!
Обманывает смерть и лжет покой могилы.
Стократ блажен, кто б мог вкусить бессменный сон!

Я в опьянении и ужасе бессмертья
Дрожащий слушаю сквозь тьму тысячелетий
Живущей вечности протяжный, скорбный стон.

* * *

Свет всех времен и пурпур всех порфир
Он видел ясными и твердыми глазами.
Как пристально он чувствовал наш мир,
Как он его раздвинул перед нами!

Звук бранных труб и звон дельфийских лир,
И кондор Анд над спящими горами,
Твой океан с встающими волнами,
Твой трепетный, живой и жадный пир.

Течет и лжет, и льется цепь страданий,
И бесконечен горький бред бываний,
Биенье вечных неустанных крыл.

Он поднял взор в небес пустые дали
И в сдержанно-торжественной печали
Прозрачной льдиной медленно остыл.

Пародия на В.Брюсова

Слушай, в шкиве пляшущих криков
Та ль былая ль трепещет дрожь.
Урукагина иль Рыков,
Эаннатум или Ллойд Джордж...

Что ж, глиссер мировых безбрежий,
Полный ход, 900 HP!
Ресторан астероидной мережи
Режет ритмами лет РКП.

Эй, соноры грозы, в симфонию,
К спирантам ветров, в контрапункт.
Главлит 40—0—7! Дробь иронии
Вжать, вместить, въединить, вмять в Weltpunkt.

Чтоб заношенных слов оссуарии
Бражью свежих вин окропить
И в истасканном итинерарии
Бывший бег иовой визой крепить.

Но гарротой ли сдавлен, на дыбе ли
Сгибнет мира былой несессер,
Мы космическим вымпелом вздыбили
На планет гафель СССР.

Страсть — ложь. Боль — бред. Жизнь — миг. И в прах лечь кости.
Пусть. Дли стих. Мысль, меть воли лучи,
И в баналь тоски тусклых тем вечности
Вариации дней пробренчи!

Примечания. *Урукагина* — царь лагашской династии. *Эаннатум* — сумерский властитель. *Рыков* — предсовнаркома СССР. *Ллойд Джордж* — лидер английских национал-либералов. *Глиссер* — скользящий по воде аппарат, приводимый в движение пропеллером. HP — принятое в технике обозначение лошадиной силы. *Соноры* (у фонетиков) или звучные согласные «р», «л». *Спиранты* или щелинные звуки, образующиеся одним сужением голосовой трубки при отсутствии смычки. *Weltpunkt* в учении Эйнштейна-Минковского — точка, определяемая координатами x, y, z и t или $t\sqrt{-1}$. *Гаррота* — орудие казни в Испании и некоторых романских странах, род ошейника, снабженного пружиной. *Гафель* — оконечность бом-брам-стеньги или иного верхнего дерева.

ПЕРЕВОДЫ

Из Горация

Памятник

Вековечней воздвиг меди я памятник.
Выше он пирамид царских строения.
Ни снедающий дождь, как и бессильный ветр,
Не сотрут его ввек, ни бесчисленных

Ряд идущих годов или бег времени.
Нет, не весь я умру, — большая часть моя
Либитины уйдет. Славой посмертною
Возрастать мне, пока по Капитолию
Жрец верховный ведет деву безмолвную.
Буду назван, где мчит Авфид неистовый
И где бедный водой Дави был над сельскими
Племенами царем. Из ничего могущ,
Первым я перевел песни Эолии
На италийский лад. Гордость заслуженно
Утверди и мою голову дельфийским
Благосклонно венчай лавром, Мельпомена*.

Крепче меди себе памятник я воздвиг.
Царственных пирамид выше вознесся он.
Едкий ливень его, бешеный Аквилон
Смыть не в силах, ни ряд неисчислимых лет,
И его не сотрет времени мерный бег.
Нет, умру я не весь, большая часть моя
Избежит похорон и вознесусь хвалой
Я в грядущих веках, будет ходить пока
С девой медленный жрец в Капитолийский храм.
Буду я восхвален там, где бежит Авфид,
Или где правит Давн в бедной водой стране
Скромным царством своим. Родом не знатный я,
Эолийский размер к римским свести ладам
Первый смел. Похвалой ты возгордись теперь,
Столь достойной тебя. Легкой рукой твоей,
Муза, волосы мне лавра венком укрась.

Из Эредиа

Бегство кентавров

Бегут, пьяны убийством и вином,
К ущельям гор в мечте найти ограду.
Страх гонит. Смерть за ними. Сквозь прохладу
Струится запах. Чуют — пахнет львом.

И мчат, и топчут гидр и стеллион,
По рвам, буграм, кустам: им нет преграды.
И вот уже подъемлются громады:
То Осса или черный Пеллион.

* Перевод В. Брюсова. Б. С. Кузин приводит его по памяти и не вполне точно. У Брюсова в 4-й строке: «Не разрушат его ввек» (Кузин зачеркнул слово «разрушат» и написал сверху «сотрут»).

Порой кентавр подпрыгнет, вытянет шею,
Оглянется, посмотрит и скорее
Спешит одним скачком нагнать друзей.

Он увидал: луна ярка над лесом
И грозным пугалом скользит под ней
Огромный ужас тени Геркулеса.

Завоеватели

Как стая кречетов вдаль от знакомых скал,
Покинув скучные родительские страны,
От Палоса неслись бойцы и капитаны,
Куда призыв мечты отважно зверской гнал.

Неслись завоевать тот сказочный металл,
Что скрыт в Сипанго, там за далями тумана,
И западный пассат, скользя по океану,
К таинственным брегам их мачты наклонял.

И каждый новый день нежданней и властней
Светящаяся синь тропических морей
Их сон тревожила виденьем золотистым,

Иль с белых каравелл они, прильнув к бортам,
Следили, как из вод идут путем лучистым
Созвездья новые по новым небесам.

Пленник

И муэдзины кончили взыванья,
И запад зелень неба золотил,
Нырнул на дно тяжелый крокодил,
Волна взяла последнее роптанье.

Как в странном сне, под плавное качанье
Вождь, мутно грезя, медленно курил,
И два раба в тупом упорстве сил
Толкали барку в мерном колыханье.

Злой арнаут, в мечте насытить гнев,
Бренчал свирепо режущий напев,
И злые взвизги струн вечерний воздух били.

Он рад, что старый шейх, лицом к воде,
В крови, в веревках, тяжело глядел,
Как острый минарет, качаясь, тонет в Ниле.

Из Леконт де Лиля

Полдень

И полдень, знойный царь, простертый над равниной,
Серебряным холстом спадает на поля,
И воздух, не дыша, горит. Молчит долина
И спит под огненной одеждою земля.

Пространство без границ, а на полях ни тени,
И ключ, отрада стад, иссякший, не журчит,
И леса мрачная опушка в отдаленье,
Как глыба тяжкая, недвижимо лежит.

Лишь спелые хлеба, как море золотое,
Вздымаются вдали и презирают сон,
И в солнечных детей священного покоя
Напрасную стрелу метает небосклон.

А белые быки, улегшись меж цветами,
Ленивым языком слюнявят шерсть крестца
И длят надменными и томными глазами
Сон внутренней мечты, которой нет конца.

О, если ты, томим отчаяньем иль верой,
Придешь туда, где Юг властительно царит, —
Беги: — простор уныл, а солнце жжет без меры,
Ничто здесь не живет, не любит, не скорбит.

Но если уж ни слез, ни смеха не имея,
Ища забвения от мира суеты,
Прощать и проклинать бесплодно не умея,
Найти последнее блаженство хочешь ты,

Приди. Пусть солнце льет потоки огневые,
Дай сердце острию их жгущего копья
И медленно вернись в селения людские,
Вкусив божественной воды небытия.

Из Кеведо

О, пилигрим! Ты ищешь в Риме Рима,
Но Рима нет, и дни его упали.
Те стены — труп, что властно так стояли,
И никнет Авентин неисцелимо.